

Историческая эпистемология: проблемы и перспективы

Редакционная коллегия серии

«Библиотека журнала «Epistemology & Philosophy of Science»

- ◆ член-корреспондент РАН *И.Т. Касавин* (председатель), Институт философии РАН
- ◆ доктор философских наук *И.А. Герасимова*, Институт философии РАН
- ◆ доктор философских наук *Н.И. Кузнецова*, Российский государственный гуманитарный университет
- ◆ доктор философских наук *Л.А. Микешина*, Московский педагогический государственный университет
- ◆ доктор философских наук *А.Л. Никифоров*, Институт философии РАН
- ◆ доктор философских наук *В.Н. Порус*, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- ◆ доктор философских наук *В.П. Филатов*, Российский государственный гуманитарный университет

Русское общество истории и философии науки

**Историческая эпистемология:
проблемы и перспективы**

Монография

Под редакцией Л.В. Шиповаловой

Москва
Издательство РОИФН
2020

УДК 13
ББК 87.2
И90

Рецензенты:

Малышкин Е.В. - д.ф.н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

Тихонова С.В. – д.ф.н., профессор Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Научная редакция и составление - Л.В. Шиповалова.

Авторы: Шиповалова Л.В. – 1 и 6 глава, Столярова О.Е. – 5 и 11 глава, Гавриленко С.М. – 2 и 7 глава, Соколова Т.Д. – 1, 3 и 4 глава, Вархотов Т.А. – 8 глава, Шапошникова Ю.В. – 9 и 10 глава.

И90 Историческая эпистемология: проблемы и перспективы: монография / Научн. ред. и сост. Л.В. Шиповаловой. – Москва: Изд-во «Русское общество истории и философии науки», 2020. – 133 с. Режим доступа: [http://rshps.ru/books/historical-epistemology\(2020\).pdf](http://rshps.ru/books/historical-epistemology(2020).pdf)

ISBN 978-5-6045557-5-0

Коллективная монография посвящена исторической эпистемологии – актуальному направлению исследований исторических оснований научного знания, контекстам формирования этого направления, возникающего на пересечении истории и философии науки, его актуальным проблемам и перспективам развития.

ISBN 978-5-6045557-5-0

УДК 13
ББК 87.2

Исследование проведено и издание подготовлено в рамках реализации проекта, поддержанного РФФИ, проект № 18-011-00281-а «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы»

© Русское общество истории и философии науки, 2020.
© Авторский коллектив, 2020.

Оглавление

Предисловие	6
Глава 1. Современная историческая эпистемология — контексты и проблемы. Вместо введения	7
Глава 2. Именем чего является «историческая эпистемология»?	21
Глава 3. Французская историческая эпистемология: институциональные и теоретические истоки дисциплины	31
Глава 4. История науки как история научной мысли: проект Элен Метцжер	43
Глава 5. Историческая эпистемология в поисках онтологии	51
Глава 6. Практики рефлексивности в исторической эпистемологии и воображение как условие их возможности	59
Глава 7. Империя наблюдения, земной глобус и ботанический сад	71
Глава 8. Левиафан и эпистемология общественного согласия	85
Глава 9. О неоднозначности понятия «стиль» в отношении искусства и науки	95
Глава 10. Между миром и человеком: некоторые аспекты изучения феномена цвета. 101	
Глава 11. Медицинские теории и практики в контексте постпозитивистской философии науки	107
Библиография	115
Об авторах	132

ПРЕДИСЛОВИЕ

Историческая эпистемология — сравнительно новое направление социально-гуманитарных исследований научного познания. Она возникает в конце XIX — начале XX века во Франции в качестве критики позитивистских подходов к анализу науки, не учитывающих историческую изменчивость познавательных практик и их нормативных критериев. Сегодня она, наряду с другими «неклассическими эпистемологиями», находится на передовой дискуссий о влиянии науки и научно-технического способа производства знания на культуру и общественные практики. Вызов, который бросает историческая эпистемология традиционной эпистемологии и философии науки, заключается в том, что она показывает значимость исторических процессов для формирования и разрешения актуальных современных проблем теории познания. При этом она обращается не столько к теории познания, сколько к истории научных практик, демонстрируя, как эпистемические нормы, принципы, понятия и концепции возникают из этих практик и, в свою очередь, порождают новые способы производства знания и новые формы общественной жизни. Историческая эпистемология — актуальный развивающийся проект, переопределяющий дисциплинарные границы исследований науки, их концептуальные рамки, открывающий ранее неизвестные пути развития научного знания, очерчивающий новые образы современной науки, дополняющиеся сформировавшимися в истории деталями. Проект исторической эпистемологии включает исследования в области истории науки, социологии научного знания, антропологии и философии науки, он не выстраивает иерархии между дисциплинами, но стремится к сохранению их гетерогенности и конструктивному взаимодействию. Именно эта открытость границ, неопределенность идентичности и актуальность тем и проблем исследовательского поля исторической эпистемологии послужила вызовом и объединила нас, участников проекта «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы», авторов представленной коллективной монографии общим интересом к прослеживанию и выстраиванию связей между научными практиками, философскими идеями, историческими находками, актуальными общественными проблемами.

Мы хотели бы высказать слова благодарности Российскому Фонду Фундаментальных исследований (РФФИ), благодаря поддержке которого наше взаимодействие оказалось возможным, Русскому обществу истории и философии науки (РОИФН), объединяющему отечественное сообщество историков и философов науки и создающему пространство для дискуссий по темам исторической эпистемологии, организаторам мероприятий «Таврические чтения Анахарсис», «Дни философии в Санкт-Петербурге», «Второй международный Конгресс РОИФН Наука как общественное благо», в рамках которых нами были организованы круглые столы и секции с обсуждением проблем исторической эпистемологии, коллегам из СПбГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИФ РАН, поддерживающих и включающихся в наши исследования. Мы благодарны всем нашим коллегам, исследователям науки, идеи которых и беседы с которыми оказывали влияние на формирование наших мыслей, придавали им силу и убедительность. Мы надеемся сохранить историческую эпистемологию как открытый проект и хотим предложить нашу коллективную монографию как жест, приглашающий к обсуждениям и ожидающий развития дискуссии.

Глава 1. Современная историческая эпистемология — контексты и проблемы. Вместо введения*

Историческая эпистемология как современное направление исследований научной деятельности имеет отношение ко многим актуальным дискуссиям в области эпистемологии и философии науки. Дискуссии эти связаны не только с общими проблемами историзации познания или эпистемологической рефлексии истории, но с самой неопределенностью исследовательского поля современной исторической эпистемологии (далее СИЭ)¹. Этим легитимируется наш вводный анализ этого направления, который будет включать несколько аспектов. 1) Различение внутри поля, объединяющего формально (по имени) и содержательно (по предмету и проблематике) различные версии исторической эпистемологии. Этот аспект позволит не только конкретизировать область анализа, но и наметит пути возможного взаимодействия между СИЭ и иными подходами. 2) Выявление специфики любого направления исследований связано с прояснением контекста его возникновения, а также внутренней структуры, задающей многообразие конкретных тем. При описании контекстов возникновения и внутренней структуры в фокусе будет уже СИЭ, предметом которой оказывается научная деятельность в исторической перспективе. 3) СИЭ, как любое исследовательское направление, включает ряд проблем, среди которых мы выделим контекстуальные, определяющие ее место в актуальных дискуссиях, и рефлексивные. Указанные три аспекта можно назвать следующим образом: 1 — аналитикой исследовательского поля, 2 — определением контекстов и репрезентативных тем, 3 — описанием проблем. В первом случае будет идти речь об исторической эпистемологии в широком смысле слова и о различных ее версиях. Во втором и в третьем случаях анализ будет относиться уже к СИЭ как к особому направлению исследований науки. Введение обращается по преимуществу к контекстам и проблемам исторической эпистемологии, но важно отметить, что авторы коллективной монографии стремились своими исследованиями представить историческую эпистемологию как проект, открытый экспериментированию, обнаружению новых случаев, открытию неизведанных троп истории науки и современных образов научной деятельности².

Аналитика исследовательского поля

Самое общее различие в определенности предмета исторической эпистемологии связано с разделением *эпистемологической рефлексии историков* и *исторической рефлексии эпистемологов*. Иначе говоря, исторической эпистемологией может называть-

© Л. В. Шиповалова, Т. Д. Соколова.

* Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-011-00281 А «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы».

В основании Введения положен доработанный и расширенный текст аналитического обзора состояния исследований в области исторической эпистемологии, опубликованный в журнале «Цифровой ученый: лаборатория философа» [Шиповалова, 2018a].

¹ Неопределенность исследовательского поля, многообразие тем, к которым обращаются авторы, называющие свои исследования исторической эпистемологией, а также различие имен тех, кто так или иначе связан с историческими контекстами исследования знания и эпистемологическими основаниями истории, делают настоящим вопросом о том, именем чего является историческая эпистемология. Ответу на этот вопрос будет посвящена вторая глава представленной коллективной монографии.

² Тема перспектив исторической эпистемологии в том или ином смысле присутствует во всех главах исследования, однако непосредственно развитие идей современных исторических эпистемологов, их специфическая аппликация, удостоверяющая, по Г. Г. Гадамеру, завершенность теоретических исследований, реализуется в седьмой, а также в десятой и одиннадцатой главах.

ся обращение к специфике и проблемам исторического познания,³ а также историческое исследование познавательной деятельности.⁴ Как в первом, так и во втором случае само имя *исторической эпистемологии* оказывается не обязательным, но возможным, не всегда используемым авторами. Такое разделение позволяет поставить вопрос о проницаемости границы: предполагают ли указанные направления исследования пересечение их предметных областей и взаимодействие? Отвечая на этот вопрос утвердительно, можно указать на образцовый пример штудий историков науки, представляющих собой не только обсуждение эпистемологических проблем исторического познания,⁵ но и работу с собственным предметом — научной познавательной деятельностью — как принципиально историческим.⁶ Именно история науки, включающая не только дескрипцию предмета, но и рефлексию собственных оснований, может служить своего рода посредником между двумя основными видами исторической эпистемологии. Кроме того, в этих двух видах можно обнаружить общность философских концептуальных и методологических оснований, в частности, апелляцию к герменевтике В. Дильтея, П. Рикера и Г. Г. Гадамера, фундаментальной онтологии М. Хайдеггера, феноменологии Э. Гуссерля, к концепту историчности, определяющему как объект исследования, так и само понимание.⁷

Второе различие может быть обнаружено уже внутри исторической эпистемологии как *исторической рефлексии эпистемологов*. Общая идея этого направления исследования состоит в том, что познавательная деятельность, ее нормы и конкретные практики принципиально изменяются в истории, определяются спецификой языка, мировоззренческих установок, жизненного мира той или иной эпохи. Познавательная деятельность включает науку, а основные проблемы эпистемологии как теории познания фор-

³ Можно отнести к этому исследовательскому направлению тексты Г. Баттерфилда, А. Мегилла, Ф. Анкерсмита, Х. Уайта, Р. Козеллека, Н. Копосова и др. [Butterfield, 1955, Анкерсмит, 2007, Мегилл, 2007, Копосов, 2001, Вен, 2003, Уайт, 2002]. Даже в тех случаях, когда историки отрицают, что история представляет собой *научное* предприятие, они, тем не менее, подобно П. Велу, называют свое исследование исторического синтеза или исторического нарратива «эпистемологией». В современной отечественной эпистемологии данное направление исследования представлено, в частности, работами С.В. Тихоновой, Д.С. Артамонова, А.В. Малинова, А.И. Филюшкина и других авторов, обращающихся к эпистемологическим основаниям истории как науки, рассматривающим практики историка в современности, особенности их осуществления в цифровую эпоху [Артамонов, Тихонова, 2019; Артамонов, Тихонова, 2020; Малинов А.В., Ащеулова Н.А., 2019; Филюшкин А.И. и др., 2017].

⁴ Указанное разделение может оказаться актуальным и в дисциплинарном контексте, подобно тому, которое существует и относительно социальной эпистемологии. Учеными (историками и социологами) эта дисциплина воспринимается как обоснование исторического или социального познания, а философами как историческая или социальная теория познания. Сама историческая фактичность возникновения этого различия достойна внимания и может быть предметом последующей работы.

⁵ Например, вариативность собственных подходов — презентизма, антикваризма, вигской историографии и др. См. об этом: [Кузнецова, 2009, 1996, 1982; Розов, 1994; Ashplant, Wilson, 1998; Alvargonzalez, 2013; Hall, 1983; Jardine, 2003; Moro Abadia, 2008; Moro Abadia, 2011; Pickstone, 1995; Tosh, 2003 и др.]. Не без риска запутать ситуацию, можно все же подчеркнуть, что это «общее поле» или пересечение может формироваться также внутри исследовательской традиции эпистемологической рефлексии исторического познания, где осуществляется обращение к истории собственной науки. В качестве примера можно привести текст Н. Копосова «Как думают историки» [Копосов, 2001, с. 129–160], в котором одна из глав (третья) посвящена истории становления понятий «общество» и «социальное». Такое исследование можно соотнести — с учетом спецификации исследовательского подхода — с обращением к научным понятиям и научным объектам из области СИЭ: [Wagner, 2000]. О предметном пространстве и специфике подхода СИЭ будет подробнее сказано далее.

⁶ В данном случае сложно было бы перечислить даже образцовые примеры — статьи, монографии, сборники. Можно назвать некоторые основные международные журналы, представляющие работы по истории науки: *Isis*, *Osiris*, *Studies in History and Philosophy of Sciences*, *History of Science*, *Social Science History*, *British Journal for the History of Sciences*, *HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science*.

⁷ См. об этом, например: [Rheinberger, 2010; Trubnikova, 2016]. О соответствующих концептах в отечественной эпистемологии см. дискуссию в номере журнала «Эпистемология и философия науки» [Филатов, Малахов, Вышегородцева, 2007].

мировались, начиная с Нового времени, по преимуществу в контексте задачи обоснования научного знания. Потому можно говорить о том, что историческое осмысление *научного познания* может выступать частным случаем осмысления *проблем познания вообще*.⁸ Необходимо подчеркнуть одну деталь. До середины XX в. основная тенденция исследований науки состояла в том, чтобы отделить научное познание от иных видов познавательной деятельности. Эта тенденция вписывается в дискуссии о критериях демаркации, которые до сих пор остаются актуальными, например, в контексте критики лженауки. Современная же тенденция, включающая так называемую третью волну социологии научного знания, предполагает обращение, в том числе в исторических исследованиях, к конструктивности взаимодействия между профессиональным и ненаучным знанием, к рассмотрению науки в социальном и культурном контекстах⁹. Любопытно, что историческая традиция, будучи неисчерпаемой, может служить подтверждением как стремления к демаркации и установления автономии научного знания, так и доказательством пересечения между знанием дилетантов и знанием ученых.

Третье различие позволяет выделить конкретные традиции *историзации именно научного знания*: французскую историческую эпистемологию, ее марксистскую версию, а также СИЭ. В *первом случае* речь идет о работах Г. Башляра [Bachelard, 2006], Ж. Кангилема [Canguilhem, 1998], М. Фуко [Foucault, 1972] как французских эпистемологов, обращающихся к изменяющимся в истории основаниям научного знания.¹⁰ Иногда название трактуется расширительно, охватывая практически всю традицию французской эпистемологии, несмотря на различные предпосылки историзации научного знания, например у П. Дюгема, Г. Башляра, М. Фуко, А. Койре и др. [Соколова, 1995; Brenner, 2015]. Во *втором* — с помощью имени *историческая эпистемология* определяется марксистская теория познания в XX в. В этом случае репрезентативными работами можно считать тексты М. Вартовски и Дж. Кмита [Wartofsky, 1979; Kmita, 1988]¹¹.

⁸ Это различие в современности отчасти соотносится со словоупотреблением. Эпистемология в аналитической и в русскоязычной традициях отсылает к познанию вообще, тогда как во французской традиции — по преимуществу к научному познанию. См. об этом: [Brenner, 2015]. Яркий пример реализации широкого смысла исторической эпистемологии: [Касавин, 2000]. И.Т. Касавин, раскрывая общий смысл философской теории познания, осуществляющей разворот к историчности, описывает три группы исследовательских контекстов: 1) исторические штудии постпозитивистов, у которых, однако, логика оставалась основой исторической реконструкции; 2) исторические эмпирические исследования социологов науки, для которых историческая фактичность позволяет ставить под вопрос любую вневременную норму, сформулированную эпистемологами; 3) исследования исторических форм рациональности, сменяющих друг друга, однако позволяющих относиться к сырому материалу исторической фактичности как к тому, который был естественным образом схематизирован. Эти три версии эпистемологического историзма со свойственными им различными методологическими установками, спорами и взаимодействием делают историческую эпистемологию конструктивно развивающимся проектом [Касавин, 2005].

⁹ В этом обнаруживается близость современной социологии научного знания и исторической эпистемологии. Примеры таких «сближающих» исследований: [Shapin, Schaffer, 1985; Vetter, 2011; Shapin, 1990; Cooper, 2007 etc.]. В этом контексте не случайно в восьмой главе представленной монографии «Левиафан и эпистемология общественного согласия» осуществляется обращение к историческим штудиям, реализуемым в одной из ключевых работ в области социологии научного знания — работе С. Шейпина и С. Шаффера «Левиафан и воздушный насос».

¹⁰ Следует выделить как минимум два ответа на вопрос о появлении в французской традиции названия *историческая эпистемология*. В первом случае предполагается, что оно возникает позже, чем его носители; ответственным за это позднее именование считается Д. Лекур, впервые использовавший его в названии своей книги «L'Épistémologie historique de Gaston Bachelard» в 1969 году [Gingras, 2010]. Во втором случае обнаруживается ранее происхождение термина, связанное с работами французского эпистемолога начала XX в. А. Рея [Brenner, 2015; Braunstein, 2012]. Также первое использование термина «историческая эпистемология» приписывается Жоржу Кангилему в его работе о Гастоне Башляре, опубликованной в 1963 году [Canguilhem, 1963, p. 178]. В то же время Жан Гайон указывает на то, что сам Кангилем термину «историческая эпистемология» предпочитал термин «эпистемологическая история» [Gayon, 2003, p. 53].

¹¹ Жангра обращает внимание на связь Д. Лекура с современной ему марксистской традицией во Франции, отмечая, в частности, влияние Л. Альтюссера. Он полагает, что в термине *историческая эпистемология* объединяются две традиции — французская и марксистская [Gingras, 2010, p. 443]

Работы этих авторов по преимуществу ориентированы на познание в целом, а наука оказывается лишь частным случаем. Третья традиция — СИЭ — становится далее основным предметом нашего анализа.

Прежде, чем мы перейдем к описанию современной исторической эпистемологии, следует сказать несколько слов о первой традиции историзации научного познания — французской исторической эпистемологии¹². Примерно с конца 1930-х и до середины 1980-х гг. историческая эпистемология во французской академии становится едва ли не единственной дисциплиной, специализирующейся на философском исследовании познания. Тем не менее, вопрос с четким определением как самой исторической эпистемологии во Франции, так и с каноном авторов, входящих в это течение, возникает ряд сложностей.

Сама по себе историческая эпистемология во Франции, несмотря на доминирование на эпистемологическом поле, остается маргинальной дисциплиной в рамках французской академической философии в целом¹³. В первую очередь это обусловлено повышенными требованиями к квалификации: исторический эпистемолог должен быть специалистом не только в области философии и ее истории, а также истории той научной дисциплины, которую он выбрал в качестве предмета своего исследования, но и быть если не практикующим ученым, то по меньшей мере иметь соответствующее естественнонаучное образование, чтобы разбираться в современном ему состоянии этой дисциплины. Тем не менее, сложность предмета исследования, а потому небольшая конкуренция внутри дисциплины привели к тому, что историческая эпистемология привлекает к себе тех исследователей, кто не вписывается в традиционный образ философа во французской академии: выходцев из провинции, эмигрантов, людей без базового философского образования, но имеющих опыт научных или историко-научных исследований.

Доминик Лекур, предлагающий марксистскую интерпретацию исторической эпистемологии, закрепляет триаду философов первого порядка — Гастона Башляра, Жоржа Кангилема и Мишеля Фуко. Эти философы формируют историческую эпистемологию во французской академии, используя в том числе административные рычаги влияния, их концепции теоретически наследуют друг другу (Башляр был учителем Кангилема, а Кангилем, в свою очередь, во многом повлиял на становление взглядов Фуко) и приводят историческую эпистемологию к ее конечной, по мнению критиков, точке — радикальной релятивизации философского знания о развитии научного познания [Lecourt, 1975¹⁴].

Тем не менее, перечень французских эпистемологов, так или иначе соотносимых с исторической эпистемологией, не ограничивается этими тремя именами. Предлагая свое определение французской исторической эпистемологии, Жан-Франсуа Бронштейн вводит понятие «французского стиля в эпистемологии» [Braunstein, 2002, p. 920], который представляет собой «философскую рефлексию над историей науки». По мысли Бронштейна, понятие стиля, будучи менее строгим и более гибким, позволяет отнести

(см. также в этой связи работу Лекура: [Lecourt, 1975]). Бронштейн же сомневается в адекватности такого предположения, указывая на существенные различия между эпистемологией как научной дисциплиной и марксизмом как философской доктриной [Braunstein, 2012, p. 34]. Значимые пересечения традиций можно найти и в постпозитивистской философии науки. О марксистских корнях идей И. Лакатоса и о возможности их соотнесения с исследованиями в области СИЭ см. панельную дискуссию в журнале «Эпистемология и философия науки», № 3, 2018 г. [Lynch, 2018].

¹² Подробнее традиция французской исторической эпистемологии будет рассматриваться в третьей и четвертой главах представленной монографии.

¹³ Подробнее об этом см. [Fabiani, 2010, P. 239–266].

¹⁴ Мы приводим ссылку на английский перевод этой классической работы Д. Лекура. Стоит отметить, что в английском издании марксистская интерпретация выводится в заглавие (Marxism and Epistemology), притом, что во французском издании (*Pour une critique de l'épistémologie*) отсылки к марксизму отсутствуют.

ко французской исторической эпистемологии круг авторов, взгляды которых по многим теоретическим вопросам отличаются от концепций триады Башляр-Кангилем-Фуко, в том числе тех, кто не имеет отношения к французской академической философии. Здесь возникает искушение внести в список исторических эпистемологов всех французских философов, так или иначе затрагивающих в своих работах вопросы философских исследований познания и истории науки¹⁵.

Оригинальный взгляд на историческую эпистемологию во Франции предлагает Кристина Кимиссо [Chimisso, 2008]. Она рассматривает французскую историческую эпистемологию как попытку посредством обращения философов к истории науки описать историю развития человеческого разума. История науки здесь становится своего рода лабораторией, в которую философ входит так же, как представитель естественных наук входит в свое пространство для поиска новых истин и проведения экспериментов.

Историзация эпистемологии во Франции начинается с контовского позитивизма и проекта «научной философии»: некогда «венценосная дисциплина» философия теряет свой эпистемический статус, успехи естественнонаучных дисциплин ставят под сомнение философское познание, а потому философия должна пересмотреть собственные основания для того, чтобы если не вернуть былой авторитет, то по меньшей мере ответить на те вызовы, которые ей бросает бурное развитие естественных наук. Обращение к истории здесь позволяет рассмотреть развитие разума в динамике, определить, какие факторы способствуют прогрессу знания, а какие замедляют его.

Однако несмотря на различные подходы к определению французской версии исторической эпистемологии и круга авторов, которых можно отнести к этому направлению, для «французского стиля» в эпистемологии характерны три постулата: (1) исторический подход к философским исследованиям в качестве основного методологического приема, вызванный принципиальной историчностью познания как процесса и особого типа человеческой деятельности; (2) научное познание в качестве основного предмета исследования, так как именно научное познание (а не повседневный опыт или обыденные рассуждения) представляет собой квинтэссенцию рационального познания мира¹⁶; (3) наследование традиции континентального рационализма, то есть представления о том, что именно теоретические инструменты (научные концепции, понятия, определения), а не эмпирический материал, играют ведущую роль в развитии научного познания. Так ко французской исторической эпистемологии можно отнести основную мишень критики Башляра — Эмиля Мейерсона, его коллегу и отчасти ученицу — Элен Метцжер, более ранних мыслителей, стоящих у истоков историзации философских исследований познания — Леона Брюнсвика и Гастона Мило, сторонников позитивизма и проекта научной философии — Абея Рея и Доминика Пароди.

Последующие концепции исторической эпистемологии, отправной точкой для которых становятся логический эмпиризм и его критика, во многом соглашаясь с первым постулатом, зачастую отходят от второго и третьего, расширяя как предмет исследования исторической эпистемологии, так и интерес к эмпирической составляющей и ее роли в познании.

Контексты актуализации современной исторической эпистемологии

Современная историческая эпистемология представляет собой достаточно новое направление исследований, связанное с именами Л. Дастон, П. Галисона, Х.-Й. Райн-

¹⁵ Отчасти это происходит в одной из первых отечественных работ, посвященных исторической эпистемологии во Франции [Соколова, 1995].

¹⁶ Это отличительное свойство французской исторической эпистемологии фиксируется уже на ранних ее этапах в словаре Андре Лаланда — одном из наиболее авторитетных философских словарей во Франции: эпистемология отделяется от теории познания вообще и концентрируется на исследованиях в области истории науки [Lalande, 2010].

бергера, Я. Хакинга, Б. Латура, Ю. Ренна и с деятельностью Института истории науки М. Планка в Берлине. СИЭ укореняет себя в традиции исторических исследований познания, заявляя при этом и о специфике собственного подхода. В этом смысле показателен текст Х.-Й. Райнбергера «*Об историзации эпистемологии*», представляющий собой обстоятельную историческую ретроспективу, восходящую к XIX в. и позволяющую проследить постепенную историзацию эпистемологии и эпистемологизацию истории науки [Rheinberger, 2010]. В *исторический контекст возникновения СИЭ* Райнбергером включаются не только французская историческая эпистемология, представители постпозитивизма (Т. Кун, П. Фейрабенд, С. Тулмин) и их предшественники (Л. Флек), но и идеи М. Хайдеггера, Э. Гуссерля, современных марксистских философов.¹⁷ Исторический контекст в данном случае — это общий маркер того, что историческая эпистемология как актуальное направление исследований схватывает в рефлексии и удерживает в открытости собственный исток, полагая это удержание необходимым моментом идентификации.

Значение описываемого Х.-Й. Райнбергером встречного движения со стороны истории и эпистемологии, репрезентированного в традиции СИЭ, связано с актуальной проблемой, выступающей вторым контекстом возникновения СИЭ, — проблемой отношений философии науки как нормативной дисциплины и позитивных, в частности, исторических исследований науки, имеющих по преимуществу дескриптивный характер. Назовем этот контекст проблемой междисциплинарности исследований науки. Общее поле исследований науки до сих пор остается скорее разделяющим, чем объединяющим для различных дисциплин.¹⁸ Конструктивность междисциплинарного синтеза философии и истории науки пока далеко не очевидна для историков. Не в последнюю очередь это можно связать с пониманием истории как «пробного камня» или «материала», о чем напоминает известная фраза И. Лакатоса о дополнительной истории и философии науки, в которой историку науки отводится роль поставщика конкретного материала для философских синтезов или для проверки философских гипотез. В этом контексте проблемы междисциплинарного синтеза как нельзя более актуален жест СИЭ, включающий не только историзацию теории научного познания, завещанную представителями предшествующих традиций, в частности, марксистской и французской, но и эпистемологизацию истории науки. Последний жест отличает именно современную историю науки. СИЭ берет на себя организацию встречи двух исследовательских интересов [Rheinberger, 2012, p. 111]. Работы в этой области становятся не просто дескрипцией отдельных научных событий или длительных процессов, но обращением к генезису современных эпистемологических проблем как к пути, на котором может быть обнаружено их разрешение. В этом смысле исторические исследования науки в СИЭ становятся философскими, предлагающими переосмысление базовых научных концептов, статуса научных объектов, оснований трансформации научного знания в целом.

¹⁷ См. об этом также: [Rheinberger, 2012]. В отечественной эпистемологии проблемам историзации эпистемологии посвящены исследования Поруса В. Н. [Порус 2008, 2009, 2010], Кузнецовой Н. И. [Кузнецова, 2005, 1982, 1996]. О сходстве и различии между СИЭ и историзацией науки в постпозитивистской традиции будет сказано далее. Обстоятельный анализ этого соотношения может быть предметом дальнейших исследований.

¹⁸ О проблемах междисциплинарного взаимодействия истории и философии науки см., например: [Reish, 2014; Arabatzis, Howard, 2015; Kuukkanen, 2016; Hendry, 2016]. Исследователи отмечают, что препятствием междисциплинарного синтеза истории и философии науки оказывается интерпретация взаимодействия этих дисциплин в духе фразы Лакатоса, определяющей взаимодействие истории и философии науки (Reish), а также забвение того, что все нормативные принципы, определяющие науку, к которым апеллируют философы, также имеют свое происхождение (Hendry). Следует подчеркнуть, что, даже в смысле поставщика эмпирического материала, функция истории науки не столь однозначна. Исторические кейсы могут приводить к пересмотру взглядов эпистемолога и появлению новых идей [Kinzel, 2015]. О напряжении между нормативным и дескриптивным характером французской исторической эпистемологии, а также философии науки в целом, см.: [Chimisso, 2015; Столярова, 2014]. В представленной коллективной монографии решению этой проблемы посвящена шестая глава.

Кроме исторического контекста и контекста проблемы междисциплинарности философии и истории науки, задающих специфику СИЭ, следует отметить контекст *неклассических эпистемологий*. Объединяет их анти-эссенциалистская установка, сомнение относительно универсального и неизменного статуса оснований научной деятельности, ее предмета и метода, а также относительно разделения «собственного» развития науки и влияния на него «внешних» факторов. Для работ в области СИЭ характерно признание принципиальной исторической изменчивости критериев научности, базовых научных ценностей¹⁹. Это сомнение, а также жест проблематизации оснований науки, признававшихся ранее само собой разумеющимися (например, ценность объективности), делит с исторической эпистемологией регулятивная, социальная, натуралистическая, феминистская эпистемология, третья волна социологии научного знания и т. п.²⁰ Вместе с критикой универсальности и необходимости научных оснований утрачивается однозначно утверждаемый нормативный характер эпистемологии [Wartofsky, 1987]. Анти-эссенциалистскую установку неклассических эпистемологий можно связать со спецификой интеллектуальной и социальной ситуации постмодернизма.²¹ В отношении СИЭ это делает, например, Ю. Ренн, показывая, насколько вызо-

¹⁹ Так, в одной из важнейших работ [Daston, Galison, 2007] речь идет о том, что в научных исследованиях объективность далеко не всегда считалась основной ценностью и добродетелью. Более того, авторы показывают, что смыслы объективности различаются в зависимости от того, в каких конкретных научных практиках или дисциплинах она оказывается руководящим принципом, и могут даже противоречить друг другу (речь может идти об онтологической, механической, коммунитарной, структурной, а-перспективной объективности) [Дэстон, 2007; Daston, 1992; Daston, Galison, 1992; Daston, 1994]. Всякий раз при этом объективность трактуется как преодоление субъективности, однако сама форма преодоления меняется в зависимости от того, какие черты субъективности оказываются «опасными» в тех или иных научных практиках. Можно отметить близость таких исследований идеям Т. Куна об исторической подвижности оснований научного познания или идеям французской традиции об историческом априори. Отличие определяется вниманием в традиции СИЭ к научным практикам, а также к их материальной составляющей, о чем будет сказано ниже. Близкий пример работы с объективностью как научной ценностью в контексте феминистской эпистемологии, однако, посредством иных исследовательских техник, обращающихся к текстологическому анализу, см.: [Lloyd, 1995].

²⁰ Раскрывая трансформацию традиционной эпистемологии во второй половине XX века, М. Вартовски описывает ее новые версии: «биологическую, эволюционную, натуралистическую, социальную, структуралистскую, генетическую, поведенческую, лингвистическую, компьютерную» [Wartofsky, 1987, p. 357]. Райнбергер доказывает закономерность преобразования современной общей философии науки в историческую [Rheinberger, 2012]. О темах неклассических эпистемологий см.: [Greco, Sosa, 1999]. Следует подчеркнуть, что дискуссии относительно существенных различий между классической и неклассической эпистемологией, а также неизбежность возникновения второй присутствуют не только в зарубежной, но и в отечественной традиции. В отечественной эпистемологии основания этим дискуссиям заложил концепт неклассической научной рациональности. Необходимые черты ее — открытость установок, критическая исследовательская позиция относительно оснований, многообразие методологических подходов, неоднозначность в определенности предмета, а также в различении субъекта и объекта исследований — были в центре внимания работ М.К. Мамардашвили, В.С. Швырева, В.С. Степина и др. Неклассическая научная рациональность, лежащая в основании неклассических эпистемологий, предполагает рефлексивное внимание к субъекту деятельности, обнаружение его укорененности в социальных, культурных контекстах, существенное влияние условий самой познавательной деятельности на ее результаты. Среди работ на эту тему см.: [Лекторский, 2009; Пружинин, 2002; Мамардашвили, Соловьев, Швырев, 1972; Касавин, Лекторский, Швырев, 2005; Столярова, 2010]. О неклассическом характере социальной эпистемологии, об общих чертах исторической и социальной эпистемологии и об общем контексте их возникновения см.: [Касавин, 2013].

²¹ Критицизм относительно универсальности оснований научного познания, базирующейся на власти кантовской способности рассудка, приводящей к единству, идет во второй половине XX века рука об руку с актуальным протестом против унифицирующих норм общественных практик и культурной идентификации. В определенном смысле подобный теоретический универсализм оказывается последним прибежищем власти универсального основания знания и культуры в целом, характеризующего эпоху модерна, и наиболее серьезным препятствием на пути протеста против этой власти. В одной из современных работ, посвященных исследованию знания в современном обществе, мы читаем: «Невозможно говорить о глобальной социальной справедливости без глобальной когнитивной справедливости. Возможно, более чем когда-либо глобальный капитализм проявляется как

вы постмодерна — многообразие подходов и уровней анализа предмета — могут иметь значение для истории науки [Renn, 1996, p. 2–7].

Еще одним контекстом актуализации СИЭ оказывается так называемый *поворот к материальному или онтологический поворот*. Можно провести различие между этими видами поворота, обратив внимание на то, что они по преимуществу обнаруживаются в практиках и теоретической рефлексии оснований различных научных дисциплин. Материальный поворот в первую очередь связывается с современными исследованиями организаций [Carlile, Langley, 2013], а онтологический поворот — с антропологией [Holbraad, Pedersen, 2017]. Однако, будучи проинтерпретированными как общие тенденции в социальных науках, а также в социальных исследованиях науки, эти два поворота могут быть поняты в их взаимосвязи: как два различных именования одного события или как конкретизация (материальный поворот) более существенной трансформации (онтологический поворот). В последнем случае материальный поворот интерпретируется как внимание к вещам или не-человекам как равноправным действующим лицам исторических трансформаций и социальных отношений. Одним из выражений этого поворота может служить принцип «генерализованной симметрии», сформулированный в контексте акторно-сетевой теории и предполагающий смещение исследовательского интереса к «не-человекам», от «практик и их объектов к объектам и их практикам» [Вахштайн, 2015, с. 11]. Осуществляется переключение внимания от оппозиции объекта и субъекта, реальности и конструкции, природы и культуры к их смешениям, гибридам, пространству «между». В конечном итоге должно быть представлено материалистическое понимание материи, в котором ее «идеальные», геометрические репрезентации (разреженные объекты) отделены от реального воспроизводства «насыщенных вещей», которые оказываются всегда больше, чем любое представление о них [Латур, 2014, с. 270].²²

Онтологический же поворот представляет собой актуализацию вопроса о том, *что* есть, а не только о том, «как» это «что» познается²³. Можно различить философскую и эмпирицистскую версии онтологического поворота, представленные, по преимуществу STS. И в том, и в другом случае его существо будет определяться двойственным критицизмом. С одной стороны, критицизмом относительно корреляционизма, утверждающего возможность работы познания исключительно с явлениями и отсутствие научного доступа к внешнему миру, существующему независимо, и, соответственно, отдающего ответ на вопрос о мире самом по себе на откуп ненаучным формам знания [Мейясу, 2015]. Этот критицизм — философский или научный — связан с предложением онтологии (исходящей из предположения внешнего мира) и последующей эпистемологической постановкой вопроса о способах доступа к такому миру. С другой стороны, присутствует критицизм относительно догматического принятия эпистемологической позиции вообще, то есть относительно наивного придания ей онтологического статуса и, соответственно, подмены того, что «есть», тем, что мы об этом «знаем». Во втором случае онтологический поворот позволяет припомнить различие между эпистемологией и онтологией, выявить возможность миру «быть и являться по-другому». В этом втором аспекте можно обнаружить пересечение

цивилизационная парадигма, включающая все сферы социальной жизни. Исключение, подавление и дискриминация, которые он производит, имеют не только экономическое, социальное и политическое, но также культурное и эпистемологическое измерения» [Boaventura, Nunes, Meneses, 2007, p. xix].

²² О характеристиках и проблемах поворота к материальному, делающих его незавершенным проектом, см. также: [Столярова, 2012; Ерофеева, 2017; Астахов, 2012].

²³ Начало онтологического поворота в философии XX в. следует связать с именем М. Хайдеггера. Начало этого «антикоперниканского поворота» имеет целью расцепить бытие вещи с ее возможностью быть предметом конституирующей деятельности сознания, что являлось принципиальным для основных положений философской традиции от Канта до Гуссерля. Несмотря на то, что можно указать ряд существенных исключений из такого рода логики, сила тенденций трансценденталистского поворота до начала XXI века делает актуальной задачу работы над его альтернативой.

контекста неклассических эпистемологий и онтологического поворота. Второй критицизм с его *онтологическим вопросом* к традиционной эпистемологии оказывается условием возможности критицизма первого с его *онтологическим ответом*²⁴. И вопрос, и последующий ответ включают возможность обращения к не-человекам как к другим вещам, подлежащим необходимому учету в процессах концептуализации. Этот анти-коперниканский поворот в двух своих вариантах объединяет спекулятивный реализм, объект-ориентированную онтологию, новый материализм, социальные исследования науки.

Онтологический поворот или поворот к материальному представлены с очевидностью в следующих текстах СИЭ: [Daston (ed.), 2000; Daston (ed.), 2008], хотя явным или неявным образом обсуждаются и во многих других. Оказывающиеся в фокусе внимания вещи или научные объекты при этом никогда не пассивны, не инертны, но активны и включаются во взаимодействия. Онтологический статус любого объекта — мечты, личной идентичности, болезни, кометы, атома, цитоплазматической частицы — перестает быть априорной данностью, но становится предметом работы. Он подтверждается действием объекта или его влиянием, когда возникают «результаты, следствия, сюрпризы, связи, манипуляции, объяснения, применения» [Daston, 2000, р. 6, 10]. В этих текстах Л. Дастон и ее коллег репрезентирована «прикладная метафизика» или альтернативная онтология, внимательная к событиям вхождения в бытие научных объектов и прекращения их существования.²⁵ Средством перехода к онтологическому ответу здесь выступает критика догматизма эпистемологической позиции, предъявляющего единственно возможную «онтологию того же самого»; следствием такого перехода оказывается придание онтологического статуса многообразию исторических репрезентаций вещей или научных объектов, обнаруживающих вариативность и изменчивость мира. Принятие «истории всерьез» выступает одновременно и негативным, и позитивным жестом.

Не все представители современной исторической эпистемологии в равной степени признают включенность в онтологический поворот. Например, Х.-Й Райнбергер отмечает, что именование исторической эпистемологии как именно эпистемологии удерживает ее от онтологических претензий.²⁶ Идеи Я. Хакинга представляют собой «мягкий» вариант исторической онтологии. Он настаивает на необходимости внимания

²⁴ Второй критицизм характеризует существо *методологического онтологического поворота*, где современные эпистемологические проблемы оказываются поводом возвращения онтологического вопроса, разворачивающего внимание от тезиса о том, как мир есть, за которым скрывается убеждение в известности того, каким он быть должен, к вопросу о том, каким он «может быть» [Holbraad, Pedersen, 2017, р. 29]. Рефлексивность и экспериментальная концептуализация — средства осуществления этого поворота. Первый критицизм предполагает выстраивание новой онтологии. В этом случае возможны варианты: множественные онтологии (А. Мол), альтернативная онтология, обращающая к тому, что присутствует за рамками определенной данности (спекулятивный реализм) или к выстраиванию связей между бинарными оппозициями, лежащими в основании классической онтологии (текущие онтологии). Вариативны также последующие эпистемологические ответы о способах доступа — от рационализма трансфинитной математики спекулятивного реализма до эмпиризма научных практик и взаимодействия с реальностью в современных исследованиях науки и технологий.

²⁵ См. об этом введение Л. Дастон к сборнику текстов «Биографии научных объектов» [Daston, 2000, р. 1–14].

²⁶ Отсутствие непосредственных онтологических заявлений в этом случае не препятствует тому, что в поле работы оказываются процессы, центрированные на вещах, объектах исследования. Однако апелляция к экспериментальным практикам, в которых обнаруживается неопределенность объекта научного исследования, а также происходит его «стабилизация» и концептуализация, если и может быть представлена в контексте онтологического поворота, то скорее в контексте его методологической составляющей. Эту параллель с СИЭ отмечают и авторы, описывающие существо онтологического поворота в антропологии [Holbraad, Pedersen, 2017, р. 18]. Кроме того, в контексте исторической эпистемологии можно обнаружить и явный критицизм относительно онтологической постановки вопроса как избыточной и ведущей порой к релятивизму [Arabazis, 2003; Касавин, 2018].

к тому, как «практики нашего именования взаимодействуют с тем, что мы именуем», и на невозможности «исключить природу как активного участника развития представлений о ней» [Hacking, 2002, p. 2, 16]. Однако в качестве событий «вхождения в бытие научных объектов», в которых принимают участие природа, люди и технологии, Хакинг рассматривает только те сущности, которые созданы в процессе научной деятельности, например лазер. Более радикальный подход представлен в текстах Б. Латура, где историческое событие начала научного исследования той или иной предметности, имеющее конкретное место и время, парадоксально трактуется как начало вечного и инвариантного бытия научного объекта, начало его утверждения в качестве того, что было «везде и всегда» [Latour, 2000]. Таким образом, внутри исторической эпистемологии обнаруживается онтология, отход от автономии которой был начат менталистским поворотом поздней схоластики. Познающий субъект перестает быть основным гарантом достоверности знания, а само знание как репрезентация реальности — преимущественным интересом философии²⁷.

Последним значимым контекстом возникновения СИЭ может быть назван *кризис научных репрезентаций* или *практический поворот*, истолкованный в отношении такой области исследований, как наука.²⁸ Критическое отношение к научным теоретическим репрезентациям сложно назвать новым, так же как и возобновляющуюся правоту эмпиризма, сопровождающую данный критицизм. Позитивизм Венского кружка еще в первой половине XX в. представляет эту тенденцию. Новизна, определяющая специфику кризиса во второй половине XX в., связана с работой над его философским обоснованием, а также с историческим моментом повсеместной критики универсализма, в том числе в научной теории и, тем более, в языке опыта. СИЭ в контексте этого поворота дополняет дескрипцию трансформации научных репрезентаций (интерпретаций, теорий, парадигм) вниманием к научным практикам. Поле ее исследования — трансформирующиеся в практиках реальность научных объектов, определенность научных концептов, научное познание в целом. Этот контекст также связан с предшествующими, поскольку критика репрезентаций отсылает к критицизму догматизма традиционной эпистемологии.

Именно на пересечении этих контекстов формируется концептуально и методологически исследовательское пространство СИЭ. В нем выделяют несколько конкретных направлений, определяющих внутреннюю структуру [Feest, Sturm, 2011].²⁹

²⁷ О проблемах соотношения знания и реальности в контексте исторической эпистемологии, а также о субъекте исторического познания см.: [Касавин, 2020]. О необходимом открытии онтологии в рамках исторической эпистемологии см.: [Столярова, 2018а; Столярова, 2018б]. Критические замечания, представленные в дискуссии, следующей за статьей О.Е. Столяровой в выпуске Вестника Томского университета, могут свидетельствовать о недостаточной ясности относительно двух аспектов онтологического поворота в исторической эпистемологии (негативного (методологического) и позитивного (метафизического)). Именно эта неясность провоцирует сомнения в наивности всякой онтологии после трансцендентального поворота и препятствует должной оценке промежуточного онтологического вопрошания как прививки от наивности и догматизма традиционной эпистемологии. Именно эта неясность — существенный возможный *предмет дальнейших исследований* в области исторической эпистемологии, а также ее онтологических экспликаций. В представленной коллективной монографии проблема онтологической составляющей исторической эпистемологии обсуждается в пятой главе.

²⁸ Представлять указанный кризис могут следующие тесты: [Cartwright, 1983; Hacking, 1983]. В контексте практического поворота пространство изучения природы трактуется как области практик [Schatzki et al (eds.), 2001, p. 11]. В свою очередь, под практиками понимается коллективная деятельность, включающая материальные вещи, технические устройства, научные объекты в их исторической конкретности. Проблема кризиса научных репрезентаций раскрывается в следующих текстах: [Vanini, 2015; Coormans et al, 2014; Denzin, 1995; Trift, N. 2008; Куприянов, Шиповалова, 2017; Руденко, 2017]. Сам концепт репрезентации и неоднозначность его трактовки в контексте раскрытия структуры научной деятельности могут оказаться *предметом последующего исследования*, в том числе предметом самой исторической эпистемологии.

²⁹ Дополнительно к трем направлениям, различаемым в данной статье, мы, на основании работ СИЭ,

1) *История эпистемических концептов* (объективность, наблюдение, законы природы, вероятность и др.). Классическими в этом смысле следует назвать работы: [Daston, Galison, 2007; Hacking, 1975; Davidson, 2002; Daston, Lunbeck (eds.), 2011; Daston, Stollies, 2008]. Следует отметить, что в подходах к истории научных концептов есть существенные различия.³⁰ Кроме того, однозначно отделить первое направление от второго можно, если в первом случае принимать в расчет только базовые научные понятия, не попадающие в поле самого научного исследования.

2) *История эпистемических вещей* (объектов). СИЭ проблематизирует известный тезис Кангилема о том, что наука — объект исследования, имеющий историю, но сами научные объекты истории не имеют. Имеют историю не только научные объекты, созданные людьми³¹, и не только в качестве истории открытия инвариантного объекта³². История раскрывает пути становления вещей научными объектами, а также координацию на этих путях людей, материалов, технических устройств, записей и визуализаций экспериментов и т. д. Значимые исследования в этом направлении: [Rheinberger 1997, Latour, 1999, Pickering, 1995].

3) *Макро-история науки*. Среди примеров таких исследований можно отметить работы под редакцией Ю. Ренна [Renn (ed.), 2012; Renn, Gavroglu (eds.), 2007]. Такая «история под телескопом» требует методологической стратегии, позволяющей сочетать внутренние и внешние факторы развития, объяснять его непрерывность и возникновение новизны. Ю. Ренн предлагает строить ее по аналогии с эволюционной теорией, учитывающей данные требования относительно живых организмов [Renn, 1995]. Кроме того, он предлагает дополнить «историю под телескопом» «историей под микроскопом» [Renn, 1996], где, тем не менее, научное познание будет рассматриваться комплексно, как «культурная система». Работы И. С. Дмитриева и его поликонтекстуальный подход могут быть образцовым примером такой микро-истории в отечественной традиции [Дмитриев, 2008]³³.

4) *История стилей научного мышления*. Это направление обращает внимание на различие и историческую сменяемость совокупностей правил и форм научной работы. Причем эти совокупности не дублируют дисциплинарные матрицы, однако подобно им существенно различаются и проблематично соединяются. Классиком историографического исследования в этом вопросе является А. Кромби, различающий шесть основных стилей научного мышления в европейской традиции [Crombie, 1995]. С позиции исторической эпистемологии развивает его идеи Я. Хакинг, вводя дополнительный лабораторный стиль [Hacking, 2002, p. 94–117].³⁴

предлагаем выделить четвертое направление и второй аспект третьего. Каждое из указанных направлений исследований представляет собой открытый проект и *может дополняться* различного рода кейсами и проблематизациями.

³⁰ О различии в подходах к истории понятий Я. Хакинга и А. Девидсона см.: [Detaro, 2010]. Об истории эпистемических концептов см. также: [Вархотов, 2018].

³¹ Об историческом характере объектов как предметов исторической онтологии пишет Я. Хакинг [Hacking, 2002].

³² Т. Арабацис настаивает, что именно такого рода историчность должна оказываться предметом работы историка науки. История здесь относится не к самому объекту, но к научной деятельности, к процессу открытия и исследования объекта [Arabatzis, 2011, 2006]. Эта история людей ничего не меняет в характере самого объекта. Я. Хакинг (см. предыдущую сноску), в отличие от Т. Арабациса, не склонен полагать, что природу можно полностью устранить из исследовательских практик.

³³ Также в этом отношении микро-истории в области СИЭ репрезентативен сборник переводов [Александров, Хагнер, 2007]. В области СИЭ, связанной с историей техники и технических наук в отечественной эпистемологии см. работы Горохова [Горохов, 2012; Горохов, 2015].

³⁴ О стилях научного мышления см. также [Kush, 2010; Kwa, 2011]. Значение включения этого направления исследования в общее поле исторической эпистемологии определяется также тем, что оно позволяет рассматривать стили мышления как пограничный объект, обнаруживающийся как в поле эпистемологии, так и в поле теории культуры и эстетики. Этому вопросу посвящена девятая глава представленной коллективной монографии.

В завершении краткого обзорного введения рассмотрим проблемы СИЭ, служащие условием и задающие направления развития этой области исследований науки, разделив их условно на два типа.³⁵

Контекстуальные проблемы. Посредством них СИЭ включается в поле актуальных дискуссий в современной философии, разделяя внимание к ним с иными эпистемологическими подходами. Следует отметить, что эти проблемы отчасти решаются в СИЭ. Однако, будучи философскими, они не могут быть окончательно закрыты, но требуют возобновляющегося обращения к предмету. Эти проблемы определяются в первую очередь контекстом неклассических эпистемологий, провозглашающих многообразие подходов, исследовательских фокусов, принципиальное отсутствие унифицирующей парадигмы. Они требуют «серединной» методологической стратегии, уклоняющейся от крайностей релятивизма и конструктивизма (плюрализма, исторической контингентности, внимания по преимуществу к контексту открытия) с одной стороны, и наивного реализма (универсализма, необходимых законов истории, внимания только к контексту обоснования) с другой. Представители СИЭ осознают эти проблемы и в ответ осуществляют исследования, ортогонально ориентированные относительно указанных оппозиций (в текстах, относящихся к историчности научных объектов), а также методологически обосновывают их [Renn, 1996]. К контекстуальным проблемам можно отнести проблему соотношения локального и глобального в историческом исследовании, проблему «безжалостного историцизма», этическую проблему гибридных научных объектов (если они отчасти искусственны, то можно ставить вопрос о том, какими им следует и не следует быть). В контексте практического поворота возникает необходимость дополнительного методологического внимания к тому, как из научных практик возникают научные концепты, формируется связность опыта и строгость научной аргументации. О конкретной связи перечисленных выше проблем с исторической эпистемологией см.: [Galison, 2008]. Также к контекстуальным проблемам относится легитимация исторической онтологии как аспекта исследований в области СИЭ. Подозрение в наивности «онтологического поворота», сомнение в действенной способности научных объектов, претензия к релятивизму науки, связанному с историзацией ее предметного поля, неоднозначность ответа на вопрос об адекватных способах доступа к нему — делает работу над данной проблемой достаточно актуальной. Именно потому проблема онтологического поворота дополнительным образом рассматривается в тексте нашей монографии.

Рефлексивные проблемы собственной определенности СИЭ связаны 1) с идентификацией именем и проблематикой современной исторической эпистемологии в сравнении с другими подходами к историческому исследованию познания; 2) с возможным включением в междисциплинарные взаимодействия с близкими областями исследований науки и познания; 3) с осмыслением собственных оснований³⁶. Репрезентативной в первом случае является конференция Института истории науки М. Планка, проведенная в 2012 году, целью которой была демонстрация связи СИЭ и французской исторической эпистемологии [History and Epistemology, 2012]. Также в этом контексте актуальны следующие работы: [Gingras, 2010; Nasim, 2013; Гавриленко, 2017а; Соколова, 2017]. Проблемы идентификации включают также вопросы о собственной предметной и методологической определенности СИЭ. Например, о возможных конструктивных заимствованиях методов из других наук или о пересечениях четырех указанных выше направлений исследований (о механизмах превращения эпистемических концептов в

³⁵ Некоторые проблемы СИЭ рассмотрены в специальном выпуске журнала *Erkenntnis*, 2011, vol. 75, no 3 и суммированы в редакционной статье [Feest, Sturm, 2011].

³⁶ Некоторые рефлексивные проблемы оказываются темой исследования в шестой главе представленной коллективной монографии.

эпистемические вещи, о роли научных стилей в формировании тех и других, о связи макро и микроуровней исследования и т. п.).

Проблема междисциплинарных взаимодействий разворачивается в нескольких направлениях: во-первых, несмотря на открытие возможностей для конструктивного диалога философов и историков, все еще сохраняются противоречия исследовательских интересов участников этого диалога [Rheinberger, 2012; Nasim, 2013]. Будет ли это противоречие основанием развития исследовательских практик, сможет ли историческая эпистемология найти серединный путь между нормативизмом философии и дескриптивизмом истории покажут дальнейшие исследования. Во-вторых, остаются радикальным противопоставление и непродуманными условия взаимодействия историографии науки или исторической эпистемологии историков и истории эпистемологии философов [Feest, Sturm, 2011]. Каждое из этих направлений остается в своем праве в своей сфере, однако взаимное признание прав — дело будущего. В-третьих, актуальна и далека от решения проблема взаимодействия между формальной философией науки, представленной по преимуществу аналитической традицией, и исторической философией науки [Brenner, 2015]³⁷. Может ли СИЭ внести вклад в решение этой проблемы, разработать конкретные способы взаимодействия или взаимодополнения остается открытым вопросом.³⁸

С необходимостью осмысления собственных оснований сталкивается любое новое направление исследований. Более того, начиная с XIX века социальные и гуманитарные науки, исследующие научное знание, принимают на себя философскую ношу обоснования собственных предпосылок. Тезис о рефлексивности звучит со стороны социологического исследования научного знания, и историческая эпистемология здесь не является исключением. В этой ситуации М. Куш, анализируя тексты Я. Хакинга, Л. Дастона и П. Галисона, обращает внимание на пока недостаточную готовность исторической эпистемологии, например, осознать релятивистские последствия собственных суждений, проблемы микроисторического анализа, а также стать рефлексивными в том смысле, который провозглашается в сильной программе социологии научного знания [Kusch, 2011]. В текстах СИЭ, по мнению М. Куша, часто отсутствует выраженная по-

³⁷ О возможностях синтеза формальной философии науки и эпистемологии, следующей традиции поворота к историческому см. [Damböck, 2014].

³⁸ Проблема междисциплинарности обсуждается также в [Sturm, 2011], где сравнивается значение исторической эпистемологии и истории эпистемологии в решении актуальных проблем теории познания. Причем сравнение осуществляется не в пользу СИЭ. История эпистемологии или история теории познания, представленная по преимуществу текстами аналитических философов, например [Hintikka, 1974; Tiles, Tiles, 1993], обращает к историческому полю рефлексии существующих эпистемологических проблем. СИЭ же представляет собой, на наш взгляд, нечто большее, чем стремление «приспособить исторический материал для философских целей», как об этом пишет Штурм: [Sturm, 2011, p. 306]. Она демонстрирует пространство научной деятельности, в котором возникают современные философские проблемы. Эти жесты истории эпистемологии и СИЭ могут быть рассмотрены как дополняющие друг друга или даже как удостоверяющие друг друга. Так, в тексте «Объективность» [Daston, Galison, 2007] раскрывается формирующееся в практиках различных наук неустранимое многообразие смыслов объективности как базового научного концепта. Именно здесь, а также в рефлексии этого концепта в истории философии, рождаются условия современных дискуссий между реалистами и конструктивистами относительно данного понятия. См. также пример объединения истории эпистемологии и исторической эпистемологии в исследовании современной проблемы научной объективности [Шиповалова, 2014]. Примерами подобного соединения истории эпистемологии, обращающейся к истории теорий познания, и исторической эпистемологии, обращающейся к изменяющимся в истории научным практикам, их описанию и научной рефлексии могут быть работы отечественных эпистемологов В.А. Ахутина и П.П. Гайденоко, Родина А.В. [Ахутин, 1976; Гайденоко, 2003; Родин, 2003]. Развиваемая Б.И. Пружининим культурно-историческая эпистемология близка по духу истории эпистемологии [Пружинин, 2009; Щедрина, 2014]. О междисциплинарном характере исторической эпистемологии, стремящейся объединить изучение социальной и когнитивной структур науки, осуществить исследование науки как познавательной (когнитивной) деятельности и социального института, см. [Repp, 1996]. О пересечении социологии научного знания и современной исторической эпистемологии в контексте конструктивистской установки см. [Кукарцева, 2007; Трубникова, 2018].

зиция относительно, например, собственного стиля научного мышления, ценностной и целевой ориентации собственных штудий. Критическое отношение к нормативной установке традиционной философии науки порой препятствует формированию собственных ответственных тезисов, скажем, о значимых в современности научных концептах, о взаимном воздействии современных научного и философского дискурсов, о вкладе исторической эпистемологии в решение современных эпистемологических и мировоззренческих проблем. Критика М. Куша представляется достаточно провокативной и не лишенной оснований. Именно потому рефлексивности современной исторической эпистемологии также будет посвящен отдельный раздел в представленной монографии.

Все перечисленные проблемы относятся к перспективам развития СИЭ и, таким образом, представляют ее как открытый проект. Открытость современной исторической эпистемологии связана как с применением ее исследовательских установок, с созданием новых кейсов, относящихся к научным практикам прошлого и современности, так и с осмыслением ее собственного места в пространстве актуальных исследований научной деятельности и дисциплинарных практик академии.

Глава 2. Именем чего является «историческая эпистемология»?*

Интеллектуальная история непохожа на единое древо с бесконечно делящимися ветвями. Скорее, в ней существуют частичные совпадения, резонансы, общие темы и пересечения между традициями, которые могут быть совершенно чуждыми друг другу в иных отношениях.

Аннмари Мол «Множественное тело: онтология в медицинской практике»³⁹

Большинство историков науки больше не считают, что какая-либо структура способна воздать должное их предмету. Сама идея поиска всеобъемлющих закономерностей в истории науки кажется дикой, своего рода рудиментарным гегельянством, ищущим скрытую, неумолимую логику в наблюдаемых капризах истории, — а в случае Куна — последней попыткой дать Разуму (теперь воплощенному в науке) Рациональную историю.

Лоррейн Дастон «История науки без Структуры»⁴⁰

В данной главе предпринимается попытка представить историческую эпистемологию не как выделенное и хорошо организованное место в дисциплинарном пространстве, а как специфическую область, чья неустойчивая конфигурация и «состав» определяются отличными от философии (прежде всего, философии науки) способами говорить о знании и его исследовать, в первую очередь — в социальных дисциплинах. Важно не столько то, что в лице социологии, истории, антропологии и пр. философия получила конкурентов в деле производства знания о знании, а то, что ими был введен радикально отличный режим подобного производства. Он стал эмпирическим. В этом режиме знание объективируется не как гомогенный порядок представления, а как нечеткое динамическое множество гетерогенных элементов, находящихся в сложных и исторически варьирующихся отношениях координации. Претензии нефилософских дисциплин на исследование знания вычерчивают территорию неопределенностей (одной из которых является следующая: что мы, собственно, исследуем, когда исследуем знание и науку) и проблематизаций, именем которой, собственно, и становится «историческая эпистемология». Но это также «гетерогенное поле сложных маневров и обменов между полюсами философии и исследующих знание эм-

© С. М. Гавриленко

* Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-011-00281 А «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы».

Материал этой главы, ее основные положения и фрагменты ранее были опубликованы в следующих публикациях: [Гавриленко, 2017a], [Гавриленко, 2017b], [Гавриленко, 2020], [Писарев, Гавриленко, 2020]. Здесь мы не можем не воспользоваться случаем, чтобы выразить свою искреннюю признательность и благодарность научному сотруднику Института философии РАН Александру Писареву, с которым нас связывают многолетняя дружба, интенсивный интеллектуальный обмен и совместная работа.

³⁹ [Мол, 2017, с.106]

⁴⁰ [Daston, 2016, p. 117]

пирических дисциплин» и зона концептуального воображения, где продумываются новые способы исследовать знание в условиях отказа приписывать ему предельные (трансцендентные или трансцендентальные) спецификации.

Ключевые слова: гетерогенность, знание, историческая эпистемология, история науки, множественность, неопределенность, наука, социология, философия науки.

«Терминология, относящаяся к миру мысли, никогда не отличалась определенностью» [Ле Гофф, 2003, с. 4] — это положение, высказанное еще в конце 1950-х годов неизменно пронизательным Жаком Ле Гоффом, претендует на то, чтобы быть эмпирически подтвержденной исторической универсалией. Если неопределенность — это неустранимый момент «мира мысли», то именем чего является «историческая эпистемология»? Указывает ли оно на выделенное место в актуальном пространстве дисциплин, место, которое не совпадает ни с философией науки, ни с историей науки, ни с социологией знания, ни с теорией медиа или антропологией, при всей подвижности и проницаемости границ между ними? Есть серьезные основания ответить «нет». Но не отправляет ли тогда выражение «историческая эпистемология» к некоему порядку утопии и теоретического воображения, т. е. к месту, которое еще только предстоит учредить, к месту, где будет наконец-то после стольких провалов заключен желаемый союз универсального (философии науки) и партикулярного (истории науки)? Возможно.

Любая попытка определить (задать, указать на) «историческую эпистемологию» предполагает движение по многим возможным траекториям и сериям, схождение которых ведет к образованию некоторой подвижной конфигурации в крайне динамичном интеллектуальном ландшафте, которую мы и пытаемся назвать «исторической эпистемологией». Предположение, которое мы позволим себе здесь сделать (предлагая не более чем набросок ответа на вопрос, именем чего является «историческая эпистемология») и которое требует структурно сложного обоснования, более осторожно, но при этом и более рискованно: разговор об исторической эпистемологии не в последнюю очередь связан с определенным событием (растянутым во времени, и хронологические границы этого растяжения требуют специального уточнения) — утратой философией интеллектуальной монополии на производство знания о знании. Эта монополия была разрушена, прежде всего, шедшим по многим направлениям вторжением в область эпистемологического анализа (долгое время остававшейся легитимной сферой философских интересов) социальных и исторических дисциплин⁴¹, а также привнесенными ими новыми способами говорить о знании, но главное — его *исследовать*⁴². Редко вспоминают, что эта «агрессия» была вписана в учредительные акты социологии как дисциплины, претендующей на научную автономию. В своем манифесте новой науки «О методе социологии» Эмиль Дюркгейм очертил область соответствующих ей «социальных фактов», отличающихся «весьма специфическими свойствами» — «ее (область. — С. Г.) составляют способы мышления, действия и чувствования, находящиеся вне ин-

⁴¹ Намечаемая нами здесь линия важна, но не является единственной, как показали два раунда дискуссии о статусе исторической эпистемологии в двух номерах журнала «Эпистемология и философия науки» за 2017 год: см. [Шиповалова, 2017a], [Шиповалова, 2017b], [Столярова, 2017], [Кузнецова, 2017], [Дмитриев, 2017], [Шашлова, 2017], [Вархотов, 2017], [Сокулер, 2017], [Писарев, 2017], [Соколова, 2017], [Кошовец, 2017]. См. также недавно вышедшую блестящую статью «История науки: проекты и идеалы» Наталии Ивановны Кузнецовой [Кузнецова, 2020].

⁴² Эти «новые способы» могут открыто заявлять о себе уже на уровне исследовательских рутин: реконструировать науку как символическую форму, работая в библиотеке Аби Варбурга (как это делал Эрнст Кассирер), или заниматься ее «рациональной реконструкцией» в стиле Имре Лакатоса — это не то же самое, что исследовать науку в поле, отправившись для этого в этнографическое путешествие в лабораторию эндокринологического Института Солка (как это сделал Бруно Латур, «следуя за акторами»).

дива и наделенные принудительной силой, вследствие которой они ему навязываются» [Дюркгейм, 1995, с. 31]. Этим положением социология объявила свою претензию быть наукой о мышлении (а значит, о знании и науке⁴³), а онтологический принцип его независимого от индивида существования становился гарантией ее дисциплинарной автономии. У этого события многочисленные и очень разнообразные последствия. Но важным было даже не то, что в лице социальных дисциплин (социологии, истории, антропологии и пр.) философия получила конкурентов в деле производства знания о знании, а то, что ими был введен радикально отличный его (производства) режим. Он стал *эмпирическим*.

Для философии наука (единственно приемлемая модальность знания) — это порядок представления. Исследовать науку философски означает исследовать специфическую форму *представления*. Именно она основной предмет философской исследовательской оптики, т. е. тот элемент, который «видит» и различает философия в науке. Приоритетной формой представления, а следовательно, и науки, оказывается пропозиция. Научный порядок пропозиций определяется как автономный: элементы вычленяемого эпистемологического ряда (научной теории, дисциплины и т. д.) конституируются двумя системами отсылок: или к другим элементам ряда (как в структуре математического доказательства или в случае применения логических формализмов), или к своим возможным теоретическим и/или эмпирическим референтам. Но при этом стратегия философии применительно к науке заключается в логике идеального конструирования, позволяющей при помощи сложной серии предельных переходов преобразовывать реальные, фрагментарные, рассеянные практики производства знания (с их степенями неопределенности, противоречиями, разрывами, точками схождения и расхождения) в идеальные когнитивные схематизмы и обосновывающие⁴⁴ операции, наделяемые статусом универсальности, необходимости и общезначимости. Предельные переходы позволяли одновременно постулировать универсальную *сущность* научного знания и операций его производства («научный метод») и претендовать на учреждение эпистемологической *нормы*, регулирующей различие между научным и ненаучным, т. е. саму философию науки представить как нормативный метадискурс. К «сущности» науки могут относить движение к истине, прогресс кумулятивного накопления знания, факт, метод, эмпирический базис, теорию, верифицируемость, фальсифицируемость, критику и т. д. — преимущественно эпистемологические категории. Тогда наука — это прежде всего научный подход, мышление и способ обращения со знанием. Предполагается, что указанные понятия работают как навигаторы и критерии демаркации: внутри поля науки они указывают на что-то позитивное, позволяя в случае необходимости эмпирически до него добраться, а снаружи — указывают на то, что отсутствие

⁴³ С самого начала ставки были чрезвычайно высоки. В своей статье «О некоторых первобытных формах классификации» (1902 г.) Дюркгейм и Мосс не постеснялись открыто заявить, что «методы научного мышления — это подлинные социальные институты, возникновение которых может описать и объяснить только социология» [Дюркгейм, Мосс, 1996, с. 6].

⁴⁴ Философия науки конституировала себя не только как место, где производится конструктивная досборка научных аппаратов (включая претензию на их нормирование) и логическое и/или трансцендентальное доопределение научных операций — гуссерлевское «познание из последнего основания» (это хорошо показывает Ольга Столярова в своей книге «Исследования науки в перспективе онтологического поворота» [Столярова, 2015]), но также как и место, где осуществляется работа по экспликации «теневых зон» науки, часто определяемых как «философские проблемы науки». Например, одной из таких зон исторически являлась актуальная бесконечность — представление, вписанное во многие научные процедуры, начиная от «рутинных» практик измерения и кончая сложнейшими формами использования математического анализа. Или трансцендентализм видел проблему в самом существовании науки как формы представления: физическая теория как факт не вытекает из множества связей, которое она сама описывает, порядок смысловых связей между структурными единицами теории — из порядка физических взаимодействий, отношение логического следования — это не отношение каузального следования. Как возможно научное представление, не выводимое из того, что в нем представлено?

данных понятий у претендентов означает отсутствие необходимых для статуса «науки» компонентов. Конструирование «сущности» позволяет достичь искомого единства, автономии и узнаваемости предмета, ведь «сущность» надежно определяет и отличает, дает нормативную модель для самовоспроизводства и позволяет узнать науку при любой встрече. Она разводит по разным углам строгое, прозрачное и проверяемое научное знание и мышление — и все остальные образы мысли, непрозрачные для себя и в той или иной степени подверженные догматизму, предрассудкам, аффектам, логическим ошибкам и прочим «идолам».

Но за последние 40–50 лет произошли серьезные изменения⁴⁵ (в том числе и в самой науке), и перемены поставили под сомнение этот нормативный эссенциализм. Поддерживавшая его философия науки утратила монополию на производство конечного знания о науке, оставив для себя частные темы вроде философских проблем конкретных дисциплин и традиционных методологических тем (теория, факт, опыт, рациональность, верификация, фальсификация и т. д.), прежде претендовавших на статус «сущности» науки. Философию науки оттеснили эмпирические исследования науки и техники — растущее и разнообразное поле, вобравшее в себя социальные науки и историю науки. Социальные и исторические дисциплины изменяют сам способ исследовательской работы со знанием, накладывают принципиальный запрет на логику предельных переходов и вводя иную исследовательскую, эмпирически ориентированную оптику, в пределах которой представление и его пропозициональная форма перестают быть единственным различимым («видимым») элементом науки (и знания). Исследовать знание все чаще означает работать с нечеткими динамическими множествами элементов (в принципе остающимися гетерогенными, т. е. принадлежащими к логически различным классам и имеющими различный генезис), находящихся в сложных (как правило, нелинейных) и исторически варьирующихся отношениях координации. Гомогенный порядок представления философии науки оказался замещен гетерогенными эмпирическими множественностями. Исходя из этой перспективы, в знании (и науке, превращаемой в одну из его исторических модальностей) начинают различать и исследовать элементы, которые не сводимы к пропозиции как форме представления: лабораторные практики и практики полевых исследований, непропозиционные формы представления (например, не принимаемую во внимание философией сложную и изменчивую роль визуального в науке), научные приборы и материальные инфраструктуры, различные режимы нормативного регулирования научных практик и «эпистемические добродетели», «научные самости» и «научные навыки», социальные сети и институты и структуры социального неравенства, политические стратегии и формы государственного вмешательства и управления, гранты и инвестиции и, конечно же, сами исследуемые наукой вещи. Появились принципиально новые способы обнаруживать науку, исследовать ее и говорить о ней, которые самими своими исследовательскими логиками отказываются от редукции эмпирических многообразий (знания и науки) к идеализированным сущностям. Эти многообразия оказались слишком сложны и гетерогенны, чтобы

⁴⁵Одним из таких изменений стала интеллектуальная и социальная автономизация истории науки, переставшая выполнять роль поставщика примеров для универалистских философских схем и «больших нарративов» о науке и знании (см., например, статьи самих историков науки [Kaiser, 2005], [Alder, 2013], [Dear, 2020], [Дастон, 2020]). Эта автономизация почти сразу стала восприниматься как опасность, противостоять которой должна фикция. В 1974 году (1970-е годы — время формирования поля эмпирических исследований науки и начала эмансипации истории науки как дисциплины от философии) физик и историк науки Стивен Бреш в статье «Следует ли присвоить истории науки рейтинг „только для взрослых“?» писал: «Преподавателю, желающему познакомить своих студентов с традиционной ролью ученого как нейтрального исследователя нейтральных фактов, не следует использовать исторические материалы вроде тех, что сейчас готовятся историками науки: они не помогут ему в его задаче. Вместо этого ему, возможно, стоит последовать совету философа Джона Смарта, который недавно предположил, что вполне легитимно использовать фикционализированную историю науки, чтобы иллюстрировать тезисы о научном методе» [Brush, 1974, p. 1170].

быть втиснутыми в различные формы эссенциалистского синтеза⁴⁶. (Возможно, главное в том, что эти способы поставили под сомнение существование такой точки зрения, исходя из которой была бы возможна тотализация науки как исследовательского объекта⁴⁷.) Принадлежа различным дисциплинарным и социальным режимам, эти новые способы изучать науку, введя в исследовательский фокус ее фактические модальности и режимы, переопределили практические иерархии исследовательских операций (отдав методологическое преимущество эмпирическим процедурам) и тем самым перераспределили порядки видимости (что и как видимо) своего титульного объекта, науки. Как следствие — принципиальное изменение исследовательского ландшафта⁴⁸ (набросок карты которого мы даже не рискуем здесь представить, так как, строго говоря, неясны принципы картографирования, включая предполагаемое масштабирование) дисциплин, изучающих знание⁴⁹. Его все больше населяют неизвестные философии науки персонажи, порой весьма странные и причудливые.

⁴⁶ Ср. с не лишенными провокационности замечаниями той же Дастон относительно «истории научного эксперимента», выражающие едва ли не радикальное сомнение в самой возможности подобного синтеза: «Общим местом стало утверждение, что к XVII веку эксперимент стал своего рода эпистемологическим краеугольным камнем знания. Но о каком в точности типе эксперимента идет речь? Каковы были его формы, происхождение, практики? Как связаны машины, рассматриваемые в трактатах по рациональной механике, с теми, что использовались для возведения обелисков в Риме или спуска на воду кораблей в Амстердаме; экспериментальные демонстрации, проводимые в комнатах Исаака Ньютона в Тринити-колледже в Кембридже или перед собранием Академии наук в Париже, с «доказательствами» ремесленников; восторженное внимание Роберта Бойля и Яна Сваммердама, проводящих наблюдение (observation), с религиозными обрядами (religious observances) благочестивых верующих. Это эпистемология в действии, и она не похожа на то, что философия науки понимает под этой рубрикой» [Daston, 2009, p.810]. (Увязывание Дастон в приведенном фрагменте наблюдений Бойля и Сваммердама с «религиозными обрядами благочестивых верующих» может показаться странным, но оно отсылает к двойной семантике средневекового латинского *observation*: «внимательное разглядывание», «смотрение», но также «послушание», «подчинение», «следование указаниям». См. объяснение этой семантической двойственности на примере описания средневековых монастырских практик хронометрирования в статье Катарины Парк [Park, 2011, p. 21–26].)

⁴⁷ Например, явный отказ от процедур тотализации науки выражен в следующем «определении» «технонауки», предлагаемом Латуром: «...отныне я буду пользоваться термином technoscience, технонаука, включающим все связанные с научным содержанием элементы, какими бы неожиданными, далекими от него и «грязными» они бы ни оказались...» [Латур, 2013, с. 278]. «Какими бы ... они бы ни оказались» — это фактически принципиальный отказ от процедур тотализации науки.

⁴⁸ Хорошим поясняющим примером этого изменения является коллективный исследовательский проект по истории научного наблюдения, реализованный под руководством Лоррейн Дастон и Элизабет Лунбек. Проект, который с самого начала стратегически выстраивался путем онтологического усложнения своего исследовательского объекта в оппозиции концепции наблюдения и протокольных высказываний логического позитивизма: «Множество аспектов научного наблюдения: его места (поле, лаборатория, обсерватория, но также домашнее хозяйство и врачебный кабинет); его инструменты (от препарирующего скальпеля до стробоскопа, но также записные книжки и таблицы данных); его образы (ботанические иллюстрации, фотографии, но и карандашные наброски); его характеры (personae) (ученые-виртуозы, путешественники, авантюристы, корреспонденты)» [Daston, Lunbeck, eds., 2011, p. 6]. Но это усложнение не единственное. Помимо конкретных исторических кейсов, данный проект намечает целый ряд сложных, переплетающихся исследовательских траекторий: история наблюдения (его агентов, техник, способов репрезентационного закрепления) за объектами, располагающимися за пределами любого возможного визуального поля человеческого восприятия; история замещающих человеческого наблюдателя машин наблюдения и «техник, переносящих виденье на новую плоскость, отрезанную от живого наблюдателя» [Крэйри, 2014, с. 12]; история визуальной инвентаризации мира; история репрезентаций, организующих замещающие эмпирические объекты поля видимости, которые становятся новыми пространствами наблюдения; история обширной, но во многом неисследованной иконографии научного наблюдения. (Подробнее об этом проекте см. [Гавриленко, 2020])

⁴⁹ Стивен Шейпин, соавтор легендарного «Левиафана и воздушного насоса» [Shapin, Schaffer, 2011], следующим образом выразил кредо современных историков науки, одновременно показывающего, что теперь организует исследовательское поле дисциплины (мы очень далеки от представления об истории науки, например, Александра Койре) — «множество», «разнородность», «локальность», «материальность», «практика»: «Мы рассказываем истории — насыщенные, детализированные и, надеемся, точные — о множестве рутинных, разнородных, исторически локализованных, материально-

Характерный (но не единственный) пример не из области исследований науки и техники это современные социологические концепции государства, не удостоавающиеся права фигурировать в эпистемологических дискуссиях. Но приведем два примечательных высказывания двух выдающихся социологов. «Пытаться осмыслить, что есть государство, значит пытаться со своей стороны думать за государство, применяя к нему мыслительные категории, произведенные и гарантированные государством, а следовательно, не признавать самую фундаментальную истину государства» [Бурдьё, 2005, с. 220] — эта фраза открывает статью Пьера Бурдьё «Дух государства: к генезису бюрократического поля» и поражает своей стилистической изощренностью и, как может показаться, риторической чрезмерностью. Но она, сопрягая в себе два находящихся в отношении взаимной обратимости плана — план эпистемологического утверждения и план социологической констатации, — указывает на то, что не монополизация физического насилия и не формы экономического изъятия являются последним основанием государственного порядка и его баснословной эффективности и силы. Этим основанием оказывается производство категорий мышления (или шире — когнитивных структур), а значит исследовать мышление⁵⁰ — это, в том числе, исследовать государство, и наоборот: в определенном смысле само государство и есть мышление⁵¹. Второе высказывание принадлежит Джеймсу Скотту: «Чем больше проектов по закреплению оседлости я исследовал, тем больше видел в них попытку государства сделать общество более понятным, организовать население так, чтобы упростить государству исполнение его классических функций — сбора налогов, обеспечения воинской повинности и предотвращения волнений. <...> я увидел в “прозрачности” общества для взгляда государства центральную проблему государственного управления» [Скотт, 2010, с. 18]. Государство как взгляд, государство как оптика, государство как инстанция наблюдения, наконец, государство как эпистемологический порядок.

От подобных демаршей социальных и исторических наук нельзя просто отмахнуться, заявив, что они работают в режиме метафорических переносов и поэтому говорят не о собственно знании, а в его терминах о чем-то другом. Социальные дисциплины требуют буквального прочтения своих утверждений и готовы предоставить им гарантии в виде результатов эмпирических исследований⁵². Положение Фуко о тюрьме как аппарате познания — это не очередное подтверждение стилевых излишеств французского интеллектуального письма. Шокирует именно его буквализм, и именно поэтому оно является неприемлемым для стандартных версий философии науки. Фуко показывает, как и из чего был собран этот аппарат, какой тип знания он производил, о каких специфических объектах оно выстраивалось [Фуко, 1999]. До сих пор многие воспринимают как скандальное его заявление о том, что чтобы понять мышление классической эпохи (во французской историографии это XVII–XVIII вв.) нужно читать не «Рассуждение о методе» Декарта, а полицейские протоколы. Условием подобных ходов и их порой чрезвычайно кропотливой исследовательской реализации является принцип, согласно которому акты познания — это нередуцируемая часть самой социальной ре-

телесных и насквозь человеческих практик» [Shapin, 2010, p. 13].

⁵⁰ Чрезвычайно широкий арсенал социологических исследовательских инструментов работы с мышлением демонстрирует недавно вышедшая и во многом экстраординарная для отечественной социологической традиции работа Александра Бикбова «Грамматика порядка: Историческая социология понятий, меняющих нашу реальность» [Бикбов, 2014].

⁵¹ Ср. также с замечанием Фуко: «История государства должна создаваться из самой практики людей, из того, что они делают, из того, как они мыслят. Государство как образ действия, государство как образ мысли» [Фуко, 2011, с. 461].

⁵² Стоит, наверное, напомнить, что программа Бурдьё по «объективации объективирующего субъекта», выражающая требование социологического контроля за производством социологического суждения, предполагала не разворачивание очередного витка рефлексивной работы мышления над самим собой, а вполне стандартные процедуры социологического исследования — работу со статистикой, реконструкцию социальных траекторий, интервью.

альности. Акты познания должны быть поняты в данном контексте предельно широко. Речь не только о «научных» актах и часто описываемом Бурдье «эффекте теории». Государственное картографирование территорий, артикулирующее логику политического господства и всегда содержащее элемент перформативного произвола, реформы орфографии и унификация системы мер и весов, повседневные классификации (типа «это попса», «это немодно», «круто!») и даже аффективные реакции тела — в равной степени акты познания.

Если попытаться описать одним словом результат вторжения социальных и исторических дисциплин в поле эпистемологических исследований, то, наверное, этим словом будет «множественность» или «множество». Множество исследовательских масштабов⁵³, множество рабочих объектов, множество устанавливаемых связей, множество эмпирически фиксируемых разрывов, но и переплетений, множество способов исследовать науку (и знание) и рассказывать эпистемологические истории, варьирующиеся от микроисторий до «историй больших длительностей»⁵⁴. И, как следствие, умножение неопределенностей. Мы перестаем быть уверенными в том, что знаем, что такое наука и что такое знание, каков их предельный онтологический состав, но уже подозреваем: вполне возможно, это плохо поставленные вопросы. Тогда как может быть помыслен, и, что важнее, исследован «объект», который наиболее радикальные современные исследовательские стратегии лишили специфицирующих свойств (один из главных и постоянно воспроизводимых эффектов исторических и социологических исследований науки — это эмпирическая деконструкция универсального и нормативного⁵⁵,

⁵³ Вопрос вводимых исследовательских масштабов требует специального рассмотрения. Диагноз, который недавно был поставлен Галисоном исследовательскому пространству исследований науки и техники, может быть распространен и на дисциплинарный порядок современной истории науки: «На заднем плане наиболее важных достижений в исследованиях науки и технологии — лабораторных исследований и акторно-сетевой теории, наших рискованных путешествий в области научной интеллектуальной собственности, авторства, исторической эпистемологии, исследований медиа, истории книги, дискурса-анализа, включенного наблюдения и философии экспериментирования — выступает поворот к локальности» [Galison, 2014, p. 197]. Но здесь, наверное, стоит проявить определенную осторожность, так как выделение локального связано с вводимыми процедурами масштабирования. Проблема масштабирования исследовательских объектов, почти никогда не рассматривающаяся в философии гуманитарных наук, является одной из определяющих для исследовательских практик в исторических дисциплинах. (См., напр., обсуждение этой проблемы в: [Дастон, Галисон, 2018, с. 80–81, 99–100]; эта работа самого Галисона, написанная совместно с Дастон и почти сразу же ставшая классикой современной истории науки, не является «локальной».)

⁵⁴ Осуществляемая современной историей науки эмпирическая деконструкция универсальных схем (будь то в форме обобщений или же постулируемых порождающих механизмов) приводит к тому, что история науки может быть написана — и в действительности пишется — более чем одним способом. Шесть высококлассных и во многом образцовых исследований по истории науки — «Левиафан и воздушный насос» Стивена Шейпина и Саймона Шеффера, сделавших «главным героем» истории, по словам Латура, не человека, а инструмент [Shapin, Schaffer, 2011]; «Объективность» Лоррейн Дастон и Питера Галисона, методологически многим обязанный «истории больших длительностей» школы Анналов [Дастон, Галисон, 2018]; «Упрямый Галилей» Игоря Сергеевича Дмитриева, обстоятельно расследующего инквизиционный процесс над Галилеем во множестве контекстов [Дмитриев, 2015]; коллективный исследовательский проект «Истории научного наблюдения», показательно использующий слово «история» во множественном числе [Daston, Lunbeck, eds., 2011]; «Небесный порядок» Константина Иванова, обращающегося к визуальной стороне науки и разнообразным техникам астрономического наблюдения [Иванов, 2003]; «Видимая империя» Даниэлы Блейчмар, посвященная четырем испанским ботаническим экспедициям эпохи Просвещения [Bleichmar, 2012] — это шесть примеров очень различных по разным основаниям способов рассказывать эпистемологические истории. Но при этом недавно вышедшая обобщающая работа Дэвида Вуттона «Изобретение науки: Новая история научной революции» [Вуттон, 2018] показывает, что амбиции по построению больших исторических картин и генерализаций отнюдь не покинули дисциплину.

⁵⁵ В самом представлении об историчности знания (или науки), поддерживаемом эмпирической очевидностью, не было ничего собственно нового. Философия XVIII–XIX вв. уже работает с этим представлением (например, Кондорсе, Гегель, Конт). Новым становится отказ от всех возможных форм трансцендентально-эмпирического удвоения и представления об истории как порядка, производимого

а также «историзация философских допущений» о науке и знании, почти неизбежно претендовавших на нормативное регулирование науки⁵⁶). Как работать с объектом, в котором отказываются видеть самотождественную сущность («натуральный вид»⁵⁷), по отношению к которой возможные конфигурации — не более чем варианты в пределах заданного структурного типа, а базовой модальностью существования которого оказывается контингентность? Возможна ли философская объективация науки, которая была бы антиэссенциалистской? Какие рабочие объекты исследования и регионы событий, связей и отношений сможет очертить подобный объективирующий жест? И какая возможна исследовательская работа с наукой и знанием, если предельным горизонтом объективации оказывается *не гомогенный порядок представления, а сложная (и при этом исторически изменчивая) множественность*?

Мы продолжаем наделять науку непроблематизируемой онтологической презумпцией существования (*она есть*) и исследовательского объекта⁵⁸ (*ее изучают*) разнообразных дисциплин (включая историю науки). Но наука все больше обнаруживает странную причудливую топологию, языком полного описания которой мы, возможно, никогда не будем располагать. Но что могла бы означать полнота в данном случае? И если в 1989 году Шейпин использует выражение «невидимый техник», чтобы указать на важную роль техников и инженеров в научном процессе и их неоцененность в исследованиях науки [Shapin, 1989], то уже в 2016 году он уже пишет о «невидимой

и поддерживаемого универсальными принципами, будь то диалектика духа или гуссерлевское трансцендентальное сознание, самой своей временной структурой (ретенция — «точка Теперь» — протенция) гарантирующей единство и непрерывность истории. Любой исторический порядок (в том числе порядок знания) становится порядком контингентности. Показательно замечание Галисона, что теория научного изменения, за построение которой в 1970-х гг. развернулась борьба между философами, уже не кажется возможной: «наука оказалась слишком гетерогенной для этого» [Galison, 2008, p. 111].

⁵⁶ «Историзация философских допущений» — это обозначение весьма специфической работы, которая ведется с философскими конструкциями в современной истории науки. Речь идет не столько о том, чтобы преобразовать философские метанаучные (в смысле Шейпина; см. [Шейпин, 2020]) утверждения, допущения, описания и нормативные схемы в исторические конфигурации (лишив их тем самым трансцендентного и/или трансцендентального статуса), и не столько о том, чтобы в очередной раз продемонстрировать их неадекватность прошлым или актуально наблюдаемым научным многообразиям, сколько о том, чтобы наделять их исторически изменчивой агентностью, а следовательно — эффективностью. Ср. со следующим поясняющим комментарием Дастон и Галисона из «Объективности»: «Даровать объективности историю — значит ввести в исторический контекст рамки, внутри которых формировалась наиболее значительная часть философии, социологии и истории науки последних десятилетий. Оппозиция между наукой как набором жестких правил и алгоритмов и наукой как неясным знанием (Майкл Полани, обильно одобренный поздним Людвигом Витгенштейном) больше не выглядит как противостояние между официальной идеологией ученых в том виде, в каком ее поддерживали философы логического позитивизма, и фактами того, как на самом деле делается наука, открываемыми социологами и историками. Вместо этого обе стороны оппозиции предстают в виде идеалов и практик с собственными историями — того, что мы назвали механической объективностью и тренированным суждением. Ни одна эпистемическая добродетель, равно как ни одна ценность, не реализуется полностью, однако и объективность, и суждение эффективны и важны с точки зрения того, как устроена научная повседневность» [Дастон, Галисон, 2018, с. 534].

⁵⁷ То, что наука не является «натуральным видом», — постоянно воспроизводимый концептуальный и исследовательский троп в исследованиях науки и техники и современной истории науки. Ср., например, с замечаниями историка науки Йена Голински: «История науки поддерживает со своим объектом изучения парадоксальное отношение. Хотя в название дисциплины встроено допущение, что единый объект, называемый наукой, является предметом ее внимания, этот объект становится все труднее определить, по мере того как продвигается его исследование. Попытки определить границы активности, которую мы зовем наукой, неоднократно проваливались. Утверждения, что была выделена ее сущность или прослежена ее непрерывность на протяжении столетий, подверглись серьезным сомнениям. Историзация категории науки обернулась фрагментацией соответствующей ей сущности. Разговор о науке как единой сущности предполагает определенную степень единства, исключительности и долгосрочного постоянства, что, по всей видимости, не подтверждается историческими свидетельствами» [Golinski, 2012, p. 19].

⁵⁸ Вернее, по-раблезиански изобильного и множественного объекта.

науке», фактически преобразуя вопрос о невидимом проникновении науки в самые разные режимы повседневности в вопрос онтологический — «где есть наука?», приводя в качестве примера ресторан быстрого питания «Макдоналдс», который содержит в определенном смысле не меньше науки, чем Гарвард или Массачусетский технологический университет⁵⁹. Шейпиновский пример совершенно случайный, но от этого особо травматичный, ибо таковым может быть практически все, о чем можно сказать или на что можно указать. Теперь исследование очень многих предметов вынуждено принимать во внимание вездесущую научно-техническую даже не подоплеку, а ипостась предмета. Наука давно не сводится ни к переднему краю познания, ни к своим традиционным местам вроде университетов, научно-исследовательских институтов и лабораторий. Она воплощена в окружающих нас техно-объектах, процессах познания среды и нас самих. Системы здравоохранения, налогообложения, социального обеспечения и другие государственные службы, маркетинговые отделы корпораций, социальные сети, разнообразные инфраструктуры и многие другие — эти инстанции производят все больше данных, выдвигают и проверяют все больше гипотез о наблюдаемых и ненаблюдаемых объектах и процессах. Вооруженные наукой акторы — ученые, инженеры, разнообразные эксперты, политики, чиновники, врачи, гигиенисты, эпидемиологи, маркетологи, бизнесмены, военные и прочие многочисленные персонажи — продолжают открывать и захватывать новые области: от орбиты до недр, от планеты до частиц, от ментальностей до политик. Они перестраивают их в соответствии с научными или квазинаучными стандартами и подчиняют своему управлению и исчислению. Наша планета переполнена большими и малыми перформативно-эпистемологическими машинами, которые производят данные, знания, гипотезы, теории, понятия и воплощают многие из них в жизнь через практики, нормы, режимы и материальные объекты. Наука в определенном смысле везде, как бы удваивая нашу растерянность от невозможности ответить на вопрос «что есть наука», странной, переходящей в неопределенность универсальностью ответа на вопрос «где есть наука». Мир и наука обнаружили столь плотную корреляцию и столь плотную взаимную переплетенность и вписанность, что мы едва ли можем уже устранить их как фактически, так и концептуально. Что вообще в данной ситуации может означать претензия на исследования науки и знания? Большие вопросы по-прежнему с нами, вопросы не только о природе, но и о том, как мы ее изучаем и почему это вообще возможно, несмотря на принципиальную и разнообразную ограниченность нашего познания, языка и мышления и отсутствие какого бы то ни было врожденного «навигатора», тянущего нас к истине, как нам это убедительно показывают социальные и исторические дисциплины.

Не является ли поэтому историческая эпистемология выражением особой чувствительности в отношении знания и науки (они по необходимости исторически изменчивые образования — эмпирическая констатация, ставшая, говоря словами Витгенштейна, «принципом описания») и одновременно тревоги и растерянности, а сам

⁵⁹ Ср.: «Хотя никакой наукой в Макдоналдсе не занимаются, большая часть того, что в нем происходит, прошла через каналы, проложенные научной и технологической экспертизой. Любой ресторан Макдоналдса — место встроенной науки. Продукты, которые являются основанием и смыслом существования этих ресторанов, прошли обширные научные и технические исследования и тесты, и любые другие продукты, которые к ним добавляют или которыми их заменяют, тоже будут подвергнуты исследованиям и анализам. Электропроводка, освещение, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и холодильные системы — все это было спроектировано, испытано и проверено на эффективность и безопасность legionами технических экспертов, как и аналогичная инфраструктура общественных зданий по всему городу и стране. Стандарты безопасности продуктов питания, их хранения и приготовления устанавливаются и контролируются опирающейся на науку государственной экспертизой. Макдональдс — это одно из огромного множества «пастеровских» мест поздней современности, в которых «старая наука» образца XIX века служит основанием для новейших открытий, например, о штаммах бактерий и токсинах, которые эти бактерии могут производить, или о физиологических последствиях употребления трансжиров, натрия и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы» [Shapin, 2016, p. 36].

этот термин — именем неопределенности или, возможно, зоны отложений неопределенностей, неизбежно производимых новыми эмпирическими способами обнаруживать знание, исследовать его и говорить о нем? Какие формы теоретических и эмпирических единств должны обеспечить хотя бы минимальную связность подобному разговору в ситуации, когда собственные успехи исследований науки приводят к эмпирической дисквалификации столь многих универсальных структур и фигур тождества⁶⁰? Историческая эпистемология — это, скорее, не дисциплина, которая может предъявить себя в рабочих объектах, работающих методах, стандартизированных описаниях и множестве, пусть и конкурирующих, теорий, а пространство проблематизаций (см.: [Galison, 2008]) и порой радикальных форм интеллектуального экспериментирования, которые ассоциируются, как правило, с философской работой. Поэтому мы готовы согласиться с предложенным Александром Писаревым представлением исторической эпистемологии как своеобразного «гетерогенного поля сложных маневров и обменов между полными философии и исследующих знание эмпирических дисциплин» [Писарев, 2017, с. 39]⁶¹, поля, одним из регулирующих принципов которого является антифундаментализм [Сокулер, 2017]. Это зона, где продумываются те неизбежно рискованные и исторически изменчивые игры, которые ведут различные режимы знания с миром (будучи вписанными в него), а также их условия и последствия, место, где знание встречается с самим собой в условиях отсутствия (или отказа от) любых трансцендентных и трансцендентальных гарантий, т. е. как контингентное и конечное. Но не угадывается ли за всем этим в конечном счете онтологический вопрос: что это за странная модальность существования — знание?

⁶⁰ Мы позволим себе предположение, что наблюдаемый в современных исследованиях науки концептуальный взрыв — это, помимо прочего, попытка ответить именно на этот вопрос в режиме радикального воображения и концептуального экспериментирования (ср. с предельно ясной постановкой проблемы, предложенной Наталией Ивановной Кузнецовой: «Перефразируя классика, скажем так: проблема не в том, существует ли наука в историческом движении, проблема заключается в том, какими понятиями выразить это движение. Прежний арсенал явно не срабатывает» [Кузнецова, 2020, с. 100]). «Диспозитив», «дисциплина», «власть/знание», «биополитика», «правительность» Фуко, «актор», «сеть», «лаборатория», «технонаука», «неподвижные мобильности» Латура, «топология», «хинтерланд» и «метод-сборка» Ло, «поле науки», «символическое насилие», «категория легитимной перцепции» Бурдье, «коллективный эмпиризм», «империя наблюдения», «эпистемические добродетели», «зоны обмена» Дастон и Галисона — только некоторые примеры попыток концептуализировать знание как гетерогенную эмпирическую и исторически подвижную множественность и научиться выстраивать исследования в режиме отказа от его конечной (предельной) определенности.

⁶¹ Правда, здесь необходимо уточнение, которое делает сам Александр: «сложные маневры и обмены» обеспечиваются, скорее, не философией науки (с хорошо известным нам социальным и институциональным контуром и выделенным местом в пределах академического порядка — начиная от университетских кафедр и кончая обязательным аспирантским экзаменом по «истории и философии науки»), а теми сегментами философского поля, где продумывается ситуация «конечности существования и познания» [Писарев, 2017]. Важным показателем подобных маневров и обменов является экспорт философских концепций в эмпирические исследования знания. Показательными примерами являются «докса» и «габитус» Бурдье (сложнейшая генеалогия «габитуса», помимо прочего, отсылает не только к исторической социологии Норберта Элиаса и антропологии Марселя Мосса, но и к философии Лейбница, феноменологии тела Мерло-Понти и аналитической философии языка и сознания с ее проблемой диспозиций и диспозиционных предикатов), «сеть» Латура (которая в соответствии с его неоднократными пояснениями ассоциируется не с технологическими сетями, а восходит к модели психического как пучка, переплетения волокон, представленной Дидро в «Сне Д'Аламбера»), «языковая игра» и «форма жизни» Витгенштейна, в терминах которых Шейпин и Шеффер реконструируют экспериментальную программу Бойля [Shapin, Schaffer, 2011]. Любопытный парадокс, требующий, наверное, отдельного рассмотрения, состоит в том, что этот перенос обеспечивается зонами философии и авторами, которые не часто (если вообще) фигурируют в университетских курсах по истории и философии науки (Уайтхед, Витгенштейн, Деррида, Делёз, Сёрр, ДеЛанда и др.).

Глава 3. Французская историческая эпистемология: институциональные и теоретические истоки дисциплины*

Историческая эпистемология во Франции зачастую рассматривается историками философии и социологами как «маргинальная» дисциплина по сравнению с другими направлениями философских исследований. Она появляется и оформляется в качестве самостоятельной философской дисциплины во французской академии в начале XX века как проект «научной философии», а уже к его середине развивается настолько, что вытесняет собой другие типы эпистемологий, которым удастся взять реванш только в конце 1980-х гг. В фокусе данной главы находится формирование французской версии исторической эпистемологии как философской дисциплины в исторической перспективе, которое включает в себя не только признанных мэтров данного направления, но и фигур второго порядка, связанных с развитием этого течения философской мысли. Здесь мы постараемся показать, что историческая эпистемология по крайней мере генетически находится в общем тренде развития философии науки, формировавшемся со второй половины XIX века, и вполне может претендовать на то, чтобы считаться «нормальной» версией эпистемологии и/или философии науки.

Ключевые слова: историческая эпистемология, французский стиль эпистемологии, Леон Брюншвик, Эмиль Мейерсон, Гастон Мило, Абель Рей, Гастон Башляр, Жорж Кангилем.

Введение

Если в истории эпистемологии когда-то и был период, в котором она представляла собой единое и гомогенное поле философских исследований познания, то на настоящий момент эпистемология как академическая дисциплина представляет собой целую плеяду разнонаправленных подходов, каждый из которых претендует на уникальность и приоритет в объяснении природы, структуры, границ и развития познавательного процесса. В то же время нельзя не отметить, что эти подходы, если и не находятся в состоянии прямой конфронтации друг с другом, все же концентрируются вокруг двух неравных полюсов. К первому полюсу, который мы обозначим как мейнстримовый, относятся направления эпистемологии и философии науки, либо генетически наследующие логическому позитивизму, либо возникающие в качестве критической реакции на него. Ко второму, маргинальному полюсу, мы отнесем те течения эпистемологической мысли, которые развивались вне воздействия философии логического эмпиризма. В качестве основных характеристик первого полюса можно назвать следующие: тяготение к формальному (не-историческому) характеру исследований, склонность к унификации предмета исследования (философия *науки* вместо философии отдельных научных дисциплин), наследование спектра проблем и терминологии, закрепившихся благодаря логическому эмпиризму⁶².

Отличительной особенностью исторической эпистемологии в контексте современных философских дискуссий является ее перманентная проблематизация и маргинализация. Это характерно как для зарубежных [Feest, Sturm, 2011]⁶³, так и отечествен-

© Т. Д. Соколова

* Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-011-00281 А «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы».

⁶² В качестве примера здесь можно привести закрепившееся определение различия между аналитическими и синтетическими высказываниями.

⁶³ Это лишь одна из статей в номере журнала *Erkenntnis*, посвященного исторической эпистемологии

ных [Шиповалова, 2017а; Гавриленко, 2017а; Столярова 2018а] исследований. В то время как направления эпистемологии, так или иначе имеющие своим истоком философию логического позитивизма, занимают позицию, которую, пользуясь терминологией Томаса Куна, можно охарактеризовать как «нормальная эпистемология», представители исторической эпистемологии, напротив, постоянно отстаивают право своей дисциплины на существование и пытаются определить и переопределить ее статус среди других направлений эпистемологии.

Здесь нам хотелось бы обратить внимание на одно важное обстоятельство, которое, на наш взгляд, способно пошатнуть статус не-исторических эпистемологий: **философия науки и история науки генетически связаны друг с другом**. Первые проекты философского осмысления научного знания, будь то проект позитивистской философии Огюста Конта или противостоящий ему «идеалистический» проект философии науки Уильяма Хьюэллса, основывались именно на истории науки. Как только у науки появляется своя история, она начинает требовать философского осмысления. Именно зарождение в XIX в. истории науки ставит перед исследователями первые философские вопросы, связанные с определением и объяснением феномена научного познания, которые остаются актуальными и в современных философских дискуссиях: проблема отделения науки от не-науки, классификация научных дисциплин, онтологический статус научных теорий и научных объектов, принципы развития научного познания и т. д. Полувековое забвение истории науки в англоязычных исследованиях выглядит здесь по меньшей мере удивительным.

Мы предлагаем рассмотреть историческую эпистемологию в ее французской версии, исходя из этой перспективы, то есть, как наследницу философии науки XIX века, где философия науки основывается на ее истории. Таким образом, историческая эпистемология в ее французской версии, равно как и более поздние течения исторической эпистемологии, представляют собой не маргинальную дисциплину и историческую аномалию, а закономерное развитие изначального проекта истории и философии науки.

Исследования исторической эпистемологии во Франции

История философии во французской академии — и в этом ее сходство с отечественной философской традицией — доминирует над непосредственно философскими исследованиями как в рамках научных публикаций [Пэнто, 2004, с. 206], так и в рамках университетских курсов, большинство из которых строятся по историческому, а не систематическому принципу. Хотя этот факт и вызывает недовольство ряда философов, полагающих, что исторические исследования вытесняют философию, которая не должна быть сведена к собственной истории [Engel, 2002], нельзя не отметить методологическое разнообразие и теоретическую проработанность историко-философских исследований, публикуемых во Франции (об этом см., напр., [Кротов, 2017]).

Наиболее продуктивными для интересующего нас предмета нам представляются две методологические программы: (1) социологическая — анализ философского поля Франции последователями Пьера Бурдьё (социологический подход); (2) теоретическая, к которой можно отнести, в частности, концепцию «французского стиля» в эпистемологии Жана-Франсуа Бронштейна и критику исторической эпистемологии со стороны французских представителей аналитической философии (Паскаль Анжель, Клодин Тьерселан, Франсуа Реканати и др.). Если первый подход стремится объяснить фено-

и включившего работы таких известных исследователей, как Мартин Куш, Мери Тайлз, Майкл Фридман, Филип Китчер и др. Данный номер является, пожалуй, одним из наиболее полных мета-исследований исторической эпистемологии. В то же время заголовок номера — “*What (good) is historical epistemology?*” — наглядно демонстрирует, что несмотря на многочисленное количество работ в данной области, историческая эпистемология до сих пор остается если не маргинальной, то как минимум специфической сферой эпистемологических исследований.

мен исторической эпистемологии через институциональное взаимодействие представителей этой дисциплины через устройство французской Академии, ее законы и порядки, то второй подход концентрируется на теоретическом наследовании как специфических проблем, присущих французской философской традиции, так и методологиях работы над этими проблемами. Тем не менее, оба эти подхода принимают как данность тот факт, что на интересующем нас историческом отрезке французская академическая философия находится в состоянии достаточно сильной изоляции от философских течений, развивающихся в других странах. Каждый из этих подходов имеет как свои преимущества, так и свои недостатки.

(1) Представители социологического подхода к исследованию академической философии во Франции (в частности, Луи Пэнто, Жан-Луи Фабиани и Шарль Сулье) на большом эмпирическом материале наглядно демонстрируют положение исторической эпистемологии в рамках общего философского поля французской академии. Отталкиваясь от анализа структуры и тематики университетских курсов, научных публикаций и карьерных стратегий философов, социологи школы Бурдьё выявляют маргинальный характер исторической эпистемологии (или философии науки) в рамках академической философии в целом: «История и философия науки мало привлекают философов, и к тому же большая часть их публики не принадлежит к философскому полю. Эти специальности занимают очень скромное место в учебных программах подготовительных классов и университетов, так же как и в программах конкурсов на звание агреже» [Сулье, 2004, с. 165]. Исходя из общей расстановки сил на философском поле, где доминируют историко-философские исследования, закреплены канон «классических» авторов и строгая иерархия тем исследований, социологи науки объясняют индивидуальные карьерные траектории исторических эпистемологов: «Философия, вопреки тому, что кажется, не накладывает ограничения на науки и более не предписывает способы действия, но продолжает держать за собой те территории, на которых она сохраняет легитимирующую силу, в частности, психологию и социологию. Доминирование новой версии спиритуализма во французской философии помогает объяснить, почему философия науки часто становилась предметом исследования маргиналов и иммигрантов, как, например, Эмиль Мейерсон и Александр Койре» [Fabiani, 2010 p. 245–246]. Таким образом, маргинальное положение исторической эпистемологии, с одной стороны, не позволяет ей доминировать в количественных показателях (публикации в журналах, учебные курсы, кафедры и т. д.), а с другой — оставляет пространство для свободного выбора тем для философской рефлексии, привлечения новых исследователей и создания своего собственного канона «классиков», не считаясь при этом с количественно преобладающими направлениями академической философии. В то же время нельзя не отметить, что интерес к истории (пусть, в данном случае, не философии, а науки) вполне укладывается в общий «исторический» тренд академической философии во Франции.

Несмотря на привлекательность социологического подхода и аргументированность его выводов, нельзя не отметить его существенный недостаток. Концентрируясь на «внешних» критериях развития дисциплины, такой подход не в состоянии объяснить содержание теорий исторических эпистемологов, то есть, ответить на вопрос: почему именно история науки становится основным конститутивным элементом эпистемологии, и, более того, значение истории для философии науки только увеличивается с развитием дисциплины до такой степени, что «историческая эпистемология» Гастона Башляра, философа, благодаря которому она становится доминирующей дисциплиной, перерождается в «эпистемическую историю» его ученика и последователя Жоржа Кангилема — одного из наиболее авторитетных (если не самого авторитетного) французского философа науки XX в.

(2) В рамках теоретического подхода к исследованиям французской исторической эпистемологии на первый план выходит содержание философских теорий, а не их ин-

ституциональное функционирование. В качестве преимущества такого подхода можно назвать выстраивание линий теоретической преемственности философов и их концепций в рамках самой исторической эпистемологии. В классической работе Доминика Лекура [Lecourt, 1978], которая во многом задала марксистский тон последующим исследованиям французской исторической эпистемологии (подробнее об этом см. [Braunstein, 2012]), закрепляется триада «Башляр — Кангилем — Фуко» в качестве основополагающей для *традиции* исторической эпистемологии. Взяв за основу данную триаду, Жан-Франсуа Бронштейн формулирует концепцию «французского стиля» в эпистемологии: эпистемология по-французски представляет собой «философскую рефлексии над историей науки» [Braunstein, 2002]. Понятие традиции, предложенное Лекуром, заменяется на более гибкое понятие стиля, так как оно позволяет включить в «эпистемологию по-французски» тех мыслителей, кто не может быть включен в традицию, но разделяет ее содержательные и методологические основания (например, Яна Хакинга или Питера Галисона). Среди других значимых для нас работ стоит отметить [Gutting, 2001], где историческая эпистемология вписывается в более широкий контекст французской философии XX века, и [Chimisso, 2008], посвященную философии сознания во Франции, в которой исследуются отдельные аспекты концепций таких философов науки, как Леон Брюншвик, Эмиль Мейерсон и других. В этих работах можно проследить тенденцию к созданию своего рода универсума мыслителей, разделяющих исторический подход к философским исследованиям науки, описать его основные принципы, концентрируясь в большей степени на сходствах, нежели на различиях, и привести многообразие возможных методологических стратегий в рамках исторического подхода к своего рода общему теоретическому знаменателю.

В качестве недостатка теоретического подхода можно указать на тот факт, что большинство исследований здесь базируется на анализе работ триады «Башляр — Кангилем — Фуко» и ряда «философов-сателлитов», которым уделяется довольно мало внимания, в то время как именно их труды и академические позиции часто выходят на первый план в исследованиях представителей социологического подхода. Концентрация на фигурах первого порядка и минимальное внимание к философам, находящимся на «периферии» академического «поля», вызывает некоторый теоретический перекося, при котором раскрываются доминирующие теории, но не вся дисциплина в целом, включающая в себя многообразие подходов и методологических приемов.

В то же время внимание к «классической триаде» характерно и для критиков французской версии исторической эпистемологии со стороны французских аналитических философов. Так в ряде работ Паскаля Анжелю доминирование исторической эпистемологии в версии Гастона Башляра в совокупности с неприятием философии логического эмпиризма приводит к тому, что философия во Франции оказывается за бортом общемировой (то есть, аналитической) философии⁶⁴.

В нашем анализе мы попытаемся объединить социологический и теоретический подходы к исследованию становления исторической эпистемологии во Франции, чтобы насколько это возможно полно, показать ее (1) преемственность традиции философии науки XIX века и (2) тот факт, что именно историческая, а не формальная эпистемология имеет право претендовать на статус «нормальной» эпистемологии и/или философии науки.

⁶⁴ Здесь стоит отметить (и об этом будет сказано ниже), что как логический эмпиризм, так и французская версия исторической эпистемологии — это проекты научной философии. Однако если в случае логического эмпиризма этот проект строится (по крайней мере, по заявлениям его представителей) на исключительно формальных основаниях, в основе французского проекта лежит история науки. То есть, при сходстве целей представители этих двух направлений философской мысли различаются по способу достижения этих целей.

Эпистемология «по-французски»: проблема определения

Термин «эпистемология» входит в английский философский лексикон в середине XIX века [Ferrier, 1854, p. 46] и постепенно вытесняет более привычные термины «теория познания» или «гносеология», а уже оттуда попадает во французскую философию. В то же время значение термина «эпистемология» в английском и французском языках не идентично. Как пишет исследователь французской исторической эпистемологии Пьер Вагнер: «Сегодня во французском языке слово “эпистемология” используется иногда как синоним “философии науки”, иногда чтобы обозначить “французский стиль” философии науки, а иногда — как перевод *epistemology*» [Wagner, 2002, p. 42].

Впервые во французском языке термин «эпистемология» появляется в 1901 году в послесловии Луи Кутюра к переводу работы Бертрана Рассела «*An Essay on the Foundations of Geometry*» (1897): «Эпистемология (англ.: *Epistemology*) — термин, этимологически обозначающий “теорию науки”, соответствует немецкому *Erkenntnistheorie* или *Erkenntnislehre* (теория познания), во французском соответствует выражению “философия наук”. <...> В итоге эпистемология — это теория познания, основанная на критическом исследовании знания, или, одним словом, Критика, в том виде, в котором ее изложил и обосновал Кант» [Couturat, 1901, p. 257]. Несколько годами позднее этот термин использует Эмиль Мейерсон в качестве синонима философии науки [Meyerson, 1908, p. i].

Впоследствии именно предложенное Мейерсоном употребление термина «эпистемология» закрепляется в наиболее авторитетном философском словаре под редакцией Андре Лаланда (1-е издание выпускалось с 1902 по 1923 гг.): «это, в сущности, критическое исследование принципов, гипотез и результатов различных наук, направленное на определение их логического (а не психологического) происхождения, их ценность и объективную значимость. <...> Английское слово *epistemology* часто используется (вопреки своей этимологии) для обозначения того, что мы называем “теория познания” или “гносеология”. Во французском языке правильное употребление [этого термина] относится только к философии науки, как она определена в данном словаре, и философской истории науки» [Lalande, 2010, p. 293].

Фигура Эмиля Мейерсона, несмотря на радикальную и зачастую предвзятую критику Гастона Башляра, а также внешнее по отношению к сложившейся академической модели положение, становится знаковой для формирования исторической эпистемологии: «он был практически самоучкой в области естественных наук и никогда не занимал университетских должностей. Тем не менее, корпус его произведений был сразу же воспринят университетскими философами, причем так, что он стал архетипическим “философом”, каким его описал Башляр в своих критических комментариях. Очень часто отмечают, насколько тяжело французская университетская система признавала индивидуальные работы тех, кто не следовал национальным курсом образования и признания. Полученный Мейерсоном радушный прием, представляющий собой явную аномалию, демонстрирует весь тот вакуум, в котором находится вопрос о науке в первые годы XX века» [Fabiani, 2010 p. 249]. Сравнительно небольшое количество работ по философско-научной проблематике, равно как и практическое отсутствие академической конкуренции, позволило сформировать круг исследователей, не следующих стандартным курсом академической философии. Понимание под эпистемологией исследований в области философии науки, которому французская философия обязана Мейерсону, закрепляется благодаря его основному критику — Гастону Башляру. Таким образом, во французской философии предмет исследования эпистемологии как дисциплины был ограничен исключительно научным познанием. А добавление к этому истории науки привело к тому, что «В XX веке под влиянием Брюнсвика, Башляра и Кангилема, термин “эпистемология” стал обозначать историческое исследование наук, а иногда и саму историю науки, взятую в противопоставлении идее общей теории по-

знания, которую подозревали в том, что она предлагает нормативную эпистемологию, игнорирующую исторические реалии и имплицитно содержит программу унификации наук, сходную с программой логического позитивизма» [Engel, 2005, p. 8–9].

Точно такое же словоупотребление фигурирует и в современных учебных пособиях по эпистемологии, где эпистемология по-французски противопоставляется эпистемологии в ее англоязычной версии: «Франкофоны понимают слово “эпистемология” в более узком смысле: они используют его для определения рефлексии исключительно над научным познанием, сохраняя выражение “теория познания” для исследования познания в целом (научного и ненаучного)» [Soler, 2009, p. 16].

Расхождение в понимании эпистемологии между франкофонными и англоязычными исследователями начинает преодолеваться с так называемого «исторического поворота», начатого работами Томаса Куна. С одной стороны, это обстоятельство сделало возможным диалог между двумя эпистемологиями, с другой стороны — вызвало недоумение у французских эпистемологов, для которых неформальный подход к эпистемологии, равно как исследования науки в исторической перспективе были привычными, а не новаторскими, а потому поверхностность подхода Куна не осталась незамеченной (см. [Russo, 1974])⁶⁵.

В то же время отказ от нормативного (формального) подхода к эпистемологическим исследованиям в пользу дескриптивного (исторического) подхода представителями исторической эпистемологии не означал полного отказа от понятия эпистемологических норм. Общим местом как для ранних версий французской исторической эпистемологии, так и для логического эмпиризма становится отказ от классического представления о философии как о «царице наук», диктующей свои познавательные принципы научным дисциплинам. Отныне именно науке принадлежит первая роль в формировании принципов познания. Однако если для логического эмпиризма «наука» в единственном числе становится идеалом для философа, задачей которого становится формулирование общих принципов научного познания и проект унификации науки, исторические эпистемологи концентрируются на эмпирическом факте многообразия научных дисциплин и постулате, что их методологии не могут быть сведены к единой (а потому нормативной) общей научной методологии. Поэтому исторические эпистемологи говорят не о единой науке, а о многочисленных науках (sciences), изучая которые, эпистемолог концентрируется на различиях, а не сходствах их методологических приемов, которые Гастон Башляр назвал «региональными рациональностями», которые по определению не могут быть сведены ни друг к другу, ни к общей научной методологии.

В связи с этим для понимания специфики французской версии исторической эпистемологии нам представляется важным ответить на два вопроса, которые потребуют обращения как к теоретическому, так и социологическому подходам к исследованию французской философии: (1) почему именно история науки стала основанием для эпистемологии и (2) какие институциональные структуры способствовали закреплению данного понимания. Ответить на первый вопрос, на наш взгляд, можно через ответ на второй.

Кризис философии и философские исследования науки

Философия науки в качестве самостоятельной дисциплины, по наблюдениям социологов философии, выкристаллизовывается из локального кризиса самоопределения философии в целом: «В конце XIX века вопрос о специфике философского дискурса оказывается в центре дебатов: философы посвящают значительную часть своего времени тому, чтобы попытаться определить место своей дисциплины в отношении религии, литературы и наук» [Фабиани, 2004, с. 109]. Именно в этот период формируется основ-

⁶⁵Отметим, что из французских эпистемологов Томас Кун ссылается на Пьера Дюгема, Эмиля Мейерсона и Александра Койре. Об этом см. [Laugier, 2006, p. 6].

ной лейтмотив работ французских исторических эпистемологов: «уже около века <...> философия отстраняется от науки и не интересуется ее прогрессом» [Couturat, 1896, р. VIII]. Философское образование, некогда фундаментальное, всеобъемлющее и покрывающее любые области знания, отныне переходит в статус недостаточного и устаревшего. По своей структуре этот кризис напоминает кризис гуманистического образования XVII в., когда «новые люди с новыми научными метлами вымели гуманистов с центрального места западной научной мысли» [Grafton, 1994, р. 3]⁶⁶. Философия снова начинает ассоциироваться с изучением старых текстов, которое хотя и расширяет кругозор, но не дает нового знания о мире и с этой точки зрения становится предприятием пусть интересным, но бесполезным.

Кризис самоопределения философии, связанный с ее изоляцией от естественнонаучных дисциплин, развитие которых пошатнуло академический статус философии в качестве науки всех наук, занятие которой не требует дополнительных квалификаций, привел к дискуссиям о необходимости введения дополнительных образовательных программ, направленных на знакомство преподавателей философии как с современной наукой, так и с ее историей. «В 1895 году Фредерик Раух обращает внимание на “нынешнюю недостаточность научного образования преподавателей философии” и подчеркивает, что было бы полезно попытаться исправить подобное положение. <...> Полумера, предложенная Раухом, состоит в том, чтобы обеспечить “философское научное образование”, у которого тройная цель: “познакомить с самыми важными результатами фундаментальных наук, приобщить к пониманию методов и к духу актуальной науки и внести ясность в хрестоматийное изложение вопросов, демонстрируя историю их развития”. Раух подчеркивает, что образование этого типа — сугубо начальное, поскольку оно не требует предварительных научных знаний; он называет его “начальным высшим образованием”. Странное соединение начального и высшего является признаком того, что некоторые философы ощущают бессилие от своего научного невежества: отныне в венценосной дисциплине обнаруживаются зазоры» [Фабиани, 2004, с. 110].

Философия позитивизма и вовлечение в философию исследователей, обладающих компетенциями в сфере «позитивных» наук, с одной стороны, указало на расхождение между академической философией и естественными науками, а с другой — потребовало пересмотра компетенций, которые требуются от философов. «Обычное образование философов не включает в себя ни научной практики, ни, строго говоря, инициации. В конце XIX века были попытки интегрировать в философское образование минимальные отсылки к естественнонаучным дисциплинам (требование бакалавриата по естественным наукам или сертификат о прохождении естественнонаучного университетского образования для получения разрешения на участие в конкурсе агреже). Клич Башляра о том, что философы должны пройти школу естественных наук, проявляет себя и здесь. Это институционально указывает на не-самодостаточность философского рассуждения. Вопрос о естественнонаучных компетенциях философа становится в течение XX века темой педагогических дебатов» [Fabiani, 2010, р. 246]. В этом контексте обращение философов к естественным наукам, вызванное своего рода комплексом неполноценности по отношению к ним, направлено на то, чтобы если и не вернуть ей прежний статус «венценосной дисциплины» и былую самодостаточность, то хотя бы оправдать ее эпистемическое существование в Академии, то есть сделать возможным появление нового философского знания.

Важно отметить, что, как и в лишении философией статуса венценосной дисциплины, так и в возвращении интереса к науке со стороны философов во Франции основную роль сыграло движение позитивизма, сначала в версии его основателя — Огюста Конта, а затем и его последователей [Brenner, 2006]. Именно философия позитивизма

⁶⁶ Хотя сам Графтон не разделяет этот тезис, он закрепляется в классических (в том числе и отечественных) исследованиях развития европейской научной и гуманитарной мысли.

не только делает науку одним из главных предметов философских исследований, но закрепляет за ней «ведущую роль во временной и духовной организации человечества» [Parodi, 1930, p. 7]. Именно Огюсту Конту принадлежал проект создания кафедры общей истории наук в Коллеж де Франс, который он пытался реализовать с 1832 года, и который был завершен только в 1892 году последователем Конта Пьером Лафиттом [Petit, 1995].

Второй институциональной организацией, из которой впоследствии вышли основные представители исторической эпистемологии, стала кафедра истории философии в ее связи с науками под руководством Гастона Мило на базе *Faculté des Lettres de Paris*, бывшей кафедре вспомогательных исторических наук. Создание кафедры, равно как и философский проект Гастона Мило, считается официальным закреплением истории науки в качестве самостоятельной дисциплины во французской академии, причем в качестве «философской истории науки» [Brenner, 2005, p. 447]. С 1919 года кафедру возглавляет Абель Рей, который совместно с Элен Мецжер в 1931 году создает Французскую группу историков науки, которая годом позже образует Институт истории наук (впоследствии — Институт истории и философии науки и техники). Основная задача института — преодолеть разрыв между учеными и гуманитариями и создать такое пространство, где они могли бы работать совместно [Braunstein, 2006, p. 175]. В 1937 году Институт публикует свою образовательную программу дипломов, в которой обучающимся предлагается выбор двух опций: «А. Общая история наук: их отношения с историей человеческой мысли и в особенности с историей логической мысли и ее методами. Б. История великих научных теорий: новые аспекты науки — их историческая последовательность и философские интерпретации, их отношения с историей философии, логикой и общей историей цивилизации» [Braunstein, 2006, p. 179–180].

По замечанию Абеля Рея в его ранней работе «Современная философия» (первое издание — 1908 г.): «наиболее важной причиной разрыва между философией и наукой является, без сомнения, та премия, которую философия стала давать невежеству, ибо вследствие успехов знания, знакомство с наукой становилось все более и более трудным. Стать философом сделалось очень легко. Мир внутренний, моральный, относительно которого сведения наши вообще и в особенности сведения точные весьма скудны, дал удобный повод для бесконечной болтовни. Если случайно какой-либо ученый высказывал свое изумление по поводу того, что столько блестящих формул покоится на зыбком песке, то ему немедленно отвечали, что его методы, его потребность в точности, его критерий — все это хорошо для утилитарных и вульгарных исследований» [Рей, 2010, с. 20]. Преодоление разрыва между философскими и научными исследованиями, в том числе, посредством изменения системы философского образования и увеличения взаимодействия между философами и учеными — проект, начатый Реєм еще в его ранних работах, который не только стал программной теоретической работой, но и обрел свою институциональную организацию.

Как и кафедра истории философии в ее связи с науками, так и Институт истории наук стали инструментами подготовки философов новой квалификации, предлагая альтернативу сложившейся в академической философии ситуации, когда от философа не требуется знание современных естественнонаучных теорий, а философские исследования науки в основном представляют собой краткую историю научной методологии: «Относительное равнодушие философии к наукам в процессе их становления ясно проявляется в программе философского образования: логика, понимаемая как методология, не относится с необходимостью к научным практикам, потому что она полностью посвящена поиску критерия истинности, независимого от исторических условий производства высказываний. Именно это объясняет, что в учебниках по философии периода Третьей Республики, когда речь заходит о науке, больше всего отсылок к Аристотелю и Бэкону: существует более или менее неизменный корпус цитат, которые можно найти практически везде. Философский дискурс о науке остается одним из наиболее непо-

движных. Из ядра философской рефлексии над наукой следует, что научное сообщество остается инертным, ведомым исключительно правилами метода и нечувствительным к истории: наука не знает случайностей» [Fabiani, 2010, p. 244].

Новая модель образования философов, равно как и взаимодействие с учеными, с одной стороны, вводило дополнительные требования к квалификации философа, чем существенно усложняла вход в профессию, с другой стороны — повышала ценность естественнонаучного образования: «Философский кредит выплачивается за счет перевода естественнонаучного капитала. В то же время не стоит преувеличивать важность двойных учебных программ: они остаются относительно малочисленными, хотя обладание специфическими компетенциями и становится условием для занятий философией науки. Эта тенденция усиливается на протяжении XX века: Жан Кавайес и Альбер Лотман были математиками, Жорж Дюма, Жорж Кангилем и Франсуа Дагоне были медиками» [Fabiani, 2010, p. 247]⁶⁷.

Такая структура философского образования и требования к компетенциям эпистемолога послужила основой для формирования проекта французской исторической эпистемологии в том виде, который представлен нам классической триадой «Башляр — Кангилем — Фуко». В рамках данной институциональной структуры развивался проект «научной философии» — проект, ставший теоретической основой для исторических эпистемологов, основные положения которого были сформулированы Абелем Реем, первым директором Института истории и философии науки и техники.

Проект научной философии: история науки как «лаборатория» эпистемолога

Именно Абель Рей формулирует в начале XX века задачу философского исследования познания, закрепляя в качестве предмета философского интереса историю науки: «философ — это историк современной научной мысли. И он должен быть скрупулезным и верным историком. Эта задача сама по себе весьма тяжела, так как наука не однолинейна и ее прогресс не однолинеен» [Rey, 1909, p. 472]. Наука представляет собой квинтэссенцию человеческой познавательной деятельности, а содержание научных теорий — ее основной результат. Поэтому историческое исследование становления научных теорий и развития научных дисциплин становится для философа основным рабочим материалом, анализируя который он может сделать выводы относительно человеческого разума, не полагаясь при этом на безосновательные метафизические догмы.

Непосредственное исследование принципов человеческого разума (или рациональности), характерное для «старой» философии объявляется если не невозможным, то по крайней мере необоснованным и теоретически несостоятельным. Тем не менее, о разуме можно судить по продуктам его деятельности — научным открытиям и теориям, которые закреплены в текстах книг и экспериментах, которые и составляют эмпирическую историю научной мысли. Аналогичный взгляд на историю науки поддерживал коллега Абеля Рея и руководитель диссертации Гастона Башляра Леон Брюнsvик: «философам нужна “лаборатория”, где они могли бы наблюдать разум за его работой, и такой лабораторией для философа становится история; он утверждал, что история для философа — то же самое, что и лаборатория для ученого» [Chimisso, 2008, p. 84]. Теперь эпистемолог подобно ученому работает в своей лаборатории, а не занимается

⁶⁷ Этому обстоятельству предшествует обращение к философии самих ученых: «Намечается тенденция, что философия науки становится делом ученых. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть, как ссылаются на этих авторов в учебниках: к ученым, в особенности Клоду Бернару и Анри Пуанкаре, чаще всего обращаются, когда нужно рассказать о методе или ценности научного познания. Трансформации научной деятельности и постоянное возрастание новых объектов научного исследования привели к появлению и развитию в XX веке философской литературы ученых» [Fabiani, 2010, p. 249].

спекуляцией, основываясь на своих собственных представлениях о том, как устроен познавательный процесс.

Задача эпистемолога как историка науки, а истории как лаборатории философа находит свое окончательное закрепление в работах Гастона Башляра, а его ученик Жорж Кангилем еще более радикализирует тезис о роли истории в эпистемологических исследованиях: «Принципиальная историчность науки у Кангилама также служит своего рода демаркацией: науку от не-науки отличает наличие у первой истории, то есть, история науки становится основным конституирующим элементом научного познания» [Braunstein, 2002, p. 933]. Однако общее направление развития исторической эпистемологии, по нашему мнению, было сформулировано именно Абелем Реем и его проектом научной философии, на основании которого, собственно, и были выстроены те академические институты, которые позволили сначала Башляру, а затем Кангилему сформулировать свои исследовательские программы.

Философия науки Абея Рея строится вокруг его переосмысления и критики классического позитивизма, а также определения роли философии по отношению к естественным наукам: «первая задача философии, по единодушному взгляду тех, кого общее мнение считает властителями современной мысли, — это “мыслить научно”» [Рей, 2010, с. 22], а «все проблемы современной философии ставятся по поводу науки» [Рей, 2010, с. 37]. Научная философия и философия науки в данном случае — одно и то же. С одной стороны, наука должна быть включена в сферу предметов философского исследования, а с другой — само философское исследование должно ориентироваться на «добродетели» научной методологии: «Философия серьезная, живая, пользующаяся вниманием — это философия науки, научная философия, ибо наука занимает в нашей социальной, моральной и интеллектуальной жизни все более значительное, почетное место» [Рей, 2010, с. 33]⁶⁸.

Именно поэтому «наука не должна отграничиваться от философии ни своим предметом (он у них один и тот же: давать отчет об опыте), ни методом (он должен быть у них одинаковым, ибо научная дисциплина является единственной, которая может удовлетворить наш ум)» [Рей, 2010, с. 251]. И если предмет науки и философии один и тот же, то и цели их совпадают: «конечной целью философской работы является объяснение вещей» [Рей, 2010, с. 12]. Однако между философским и научным исследованием все же существуют различия: «Если наука объясняет, философия хочет продолжить еще дальше ее объяснения и, следовательно, объяснить самое науку» [Рей, 2010, с. 15]. Принципиальное различие между философской и научной деятельностью заключается в том, что философия склонна к гораздо более широким обобщениям, которые не допустимы в естественнонаучных дисциплинах: «философскую точку зрения от научной отличает только то, что первая является более общей и всегда представляется немножко в виде авантюры. Она не заботится о скрупулезном и строгом контроле. Она везде желает видеть совокупность и иметь дело с совокупностью. Стремление сразу перескочить к обобщению заводит ее далеко от фактов и от того, что может быть проверено. Речь уже не идет больше о том, чтобы скромно выразить то, что открывает опыт, или ограничиваться гипотезами, которые идут рядом с опытом, исходя из опыта и к нему возвращаются. Бросаются резко в неизвестное, не сохраняя постоянных точек опоры. Этот скачок в неизвестное характеризует философский дух в противоположность духу научному [Рей, 2010, с. 252]. Поэтому Рей выстраивает своего рода иерархию по принципу доли обобщения, в которой философии науки отводится принципиально важная роль: «философия по отношению к науке, — к чистой науке по современной терминологии, — желает быть тем же, чем последняя является по отношению к обыденному знанию» [Рей, 2010, с. 15].

⁶⁸ Обратим внимание, что уже здесь намечается тенденция, которая впоследствии закрепляется во французской исторической эпистемологии: наука принимается в качестве очевидного исторического и социального факта, поэтому вопрос о ее основаниях не ставится.

В некоторой степени проект Рея представляет собой переосмысление классического позитивизма, так как наука здесь представлена в качестве единственного легитимного способа познания мира: «Одной из существенных задач философии является поддержание той атмосферы обобщений, которая необходима для развития науки, для нормального сохранения и для диффузии научного духа. Она должна будет показать, как и в какой мере наука отвечает или сможет ответить на те человеческие запросы, которые всегда составляли привлекательность философских систем или религиозных верований; и почему на известные вопросы не может быть ответа, раз вопросы эти неправильно поставлены или в действительности совсем не существуют. Она должна будет показать, как и почему научная дисциплина одна способна удовлетворить наш дух в его поисках истины» [Рей, 2010, с. 253–254]. В то же время Рей выступает против неоправданного материалистического редуccionизма, свойственного для некоторых направлений позитивистской мысли, и который он полагает одним из видов догматизма. Роль философии в данном случае заключается в том, чтобы удержать естественно-научную мысль от укоренения в догматизме такого типа: «Необходимо и необходимо абсолютно, чтобы завоевания науки и научного духа были защищены — в случае надобности вопреки им самим, — от слишком больших и легкомысленных претензий. Ибо необузданная смелость, которую представляют нам, например, некоторые материалистические обобщения, не менее опасна для престижа науки в глазах здоровых и честных умов, чем излишняя робость и приниженность ее в глазах широкой публики» [Рей, 2010, с. 253].

Однако, что же содержательно означает стремление «мыслить научно» и почему именно история науки становится здесь основным предметом философского интереса? По мысли Абея Рея, «в умственной области нужно бороться только с двумя вещами, ибо только они являются вредными: это догматизм и нетерпимость, везде, где бы они ни встретились» [Рей, 2010, с. 8]. Данная позиция идет в разрез со сложившимся в рамках академической философии взглядом на научную методологию как на набор неизменных и устоявшихся методологических принципов, о котором мы упоминали выше. Предположение, что научная методология может быть сведена к простому набору таких принципов, а потому уже объяснила природу научных исследований, ведет к догматизму, который вреден как для философии, так и для самой науки, так как извне навязывает ей чуждые способы исследования, игнорируя непосредственные научные практики. Поэтому Рей полагает, что «научная точка зрения должна <...> отличаться скромностью и не претендовать на непогрешимость, характерную для всякого рода догматизма, против которого она всегда боролась и который часто был столь опасен для нее» [Рей, 2010, с. 8]. В исторической эпистемологии данная точка зрения найдет свое отражение в тезисе о том, что создание общей философии *науки* невозможно, так как каждая научная дисциплина обладает своими предметом и методологией исследования, которые, к тому же, постоянно развиваются. Соответственно, в философских исследованиях речь может идти только о философии отдельных *наук*.

Попытка избежать догматизма и навязывания науке чуждых ей методологических принципов приводит к тому, что эпистемолог вынужден отказаться от двух классических для философской рефлексии над познанием фундаментов: метафизики и логики. Французская историческая эпистемология не принимает, с одной стороны, догматизм модернистских проектов, стремящихся выработать единые познавательные принципы, основываясь на необоснованных метафизических допущениях, с другой стороны — не подпадает под влияние логического эмпиризма, так как с подозрением относится к жестким нормативным конструкциям, внешним по отношению к научной практике. Единственным возможным полем исследования в данном случае становится история науки, так как именно она позволяет провести исследование познавательного процесса, во-первых, содержательно, а во-вторых, в его непосредственной динамике.

Заключение

Историческая эпистемология как философская дисциплина, исследующая познание, наследует проектам философии науки XIX века, выросшим из исследований истории развития научных дисциплин. Выбор истории науки в качестве предмета для философской рефлексии представляется вполне закономерным, если принять во внимание два теоретических обстоятельства: (1) отказ от метафизики как от устаревшей/примитивной/безосновательной/догматичной формы философского познания и (2) отказ от логики или унифицированной методологии как от попыток философии навязать научным дисциплинам нормативную модель развития, которая не отражает сути научного поиска. История науки в качестве фундамента для эпистемологии как философской дисциплины приводит к тому, что «французская эпистемология не задается вопросом об основании науки. В этом отношении существует только один авторитет — сама наука в ее истории» [Braunstein, 2002, p. 928]. История науки становится единственно возможным предметом исследования эпистемолога, так как дает ему возможность подобно ученому работать в «лаборатории», то есть исследовать познание через изучение продуктов рациональной деятельности ученых. Отныне философское познание уже нельзя упрекнуть в безосновательности — развитие научных дисциплин в исторической перспективе является эмпирическим подтверждением развития познания и разума, то есть прогресса познания. Присоединяясь к этому прогрессу, философия стремится закрепить за собой эпистемический статус дисциплины, способной на производство нового знания о мире, причем знания столь же обоснованного, пусть и не столь точного, как естественнонаучное знание.

Относительная сложность получения квалификации эпистемолога по сравнению с другими сферами философского образования, равно как и наличие институциональных структур, направленных на подготовку эпистемологов определенного типа, привело к закреплению исторической эпистемологии как единственной версии эпистемологии во Франции вплоть до 1980-х годов — периода начала «интервенции» аналитической философии во французскую академию. Создание философских академических институтов такого типа, равно как требования к квалификации философов науки, по нашему мнению, основывается на проекте научной философии Абеля Рея, который не только создал институциональные структуры, сформировавшие французских исторических эпистемологов середины XX века, но и выработал основные теоретические принципы, которые впоследствии были закреплены и развиты в их работах. И основным из этих принципов стала история науки в качестве основного предмета философского интереса, а также критерия философской рефлексии над научным познанием. Именно поэтому исторический подход в эпистемологии можно обозначить в качестве «нормальной эпистемологии», а формальные подходы, не обращающиеся к исторической практике научных исследований, рассматривать как историческую аномалию. Историческая эпистемология следует за фактическим развитием истории научных дисциплин, не стремясь навязать им общую методологию или свести научное многообразие к единой концепции научного познания, а история наук, в данном случае, служит ее непосредственным обоснованием. В этом отношении попытка преодолеть кризис философского познания в границах Академии, предпринятая французскими историческими эпистемологами, может считаться успешной: если проект формальной философии науки в англоязычных странах привел к «историческому повороту» и пересмотру постулатов «классической» эпистемологии, французская эпистемологическая традиция пропустила этот этап в своем развитии.

Глава 4. История науки как история научной мысли: проект Элен Метцжер*

Проект французской исторической эпистемологии, который некоторые исследователи представляют в качестве однородного течения, включал в себя и внутренние теоретические разногласия, в том числе связанные с такими принципиальными для дисциплины темами, как основной предмет исследования, природа познавательного процесса и роль философа в исследованиях истории науки. Мейнстримной точкой зрения была признана концепция Гастона Башляра, согласно которой исторический эпистемолог исследует историю науки как непрекращающийся прогресс научного познания, стремясь выявить основные концептуальные точки разрывов, характеризующие качественный переход от одной стадии познания к другой. Концепция исторической эпистемологии Элен Метцжер выбивается из мейнстрима прежде всего потому, что она отказывается рассматривать историю науки как историю прогресса, предлагая концепцию исторического *а priori*. Эта глава посвящается реконструкции проекта Элен Метцжер и теоретическим вызовам, которые она ставила перед эпистемологами и историками науки.

Ключевые слова: Элен Метцжер, французская историческая эпистемология, историческое *а priori*, история науки, история разума, прогресс науки.

Введение

Историческая эпистемология в ее французской версии представляет собой специфическое философское течение, которое можно в существенной степени охарактеризовать как национальное, в силу относительной изоляции французской академии от мировой (в первую очередь, европейской и американской). В отличие от англосаксонской и немецкой эпистемологий, основным предметом исследования французской исторической эпистемологии становится научное познание, причем, как это следует из названия, в исторической перспективе. Жан-Франсуа Бронштейн, предложивший концепцию «французского стиля» в эпистемологии, дает следующую ее характеристику: «[французская эпистемология] отталкивается от рефлексии над наукой; эта рефлексия — историческая, эта история — критическая, и эта история в равной степени является историей рациональности» [Braunstein, 2002, p. 923].

В классической концепции исторической эпистемологии, нашедшей свое отражение в линии преемственности «Башляр-Кангилем-Фуко», можно выделить два основных теоретических аспекта. Первый — принципиальная *историчность* познающего разума: в отличие, например, от произведений искусства, имеющих вневременную ценность, ценность той или иной научной гипотезы определяется ее релевантностью для более современных научных исследований в данной области. Поэтому, в отличие от искусства, научное познание прогрессивно, а «история науки всегда описывается как история прогресса познания» [Башляр, 2016, p. 222]. Таким образом, философ или историк, обращающийся к истории науки, сталкивается с необходимостью смотреть на предмет своего исследования с позиций более развитого, прогрессивного и сложного настоящего, «пересобирая» из фактов истории прошлого ту цепочку открытий, изобретений и следственных связей, благодаря которым это настоящее и стало возможным.

© Т. Д. Соколова

* Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-011-00281 А «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы».

Второй аспект — это отказ от классического (нововременного) понимания рациональности как строго нормативного набора жестких, универсальных и неизменных познавательных инструментов, к которым, в первую очередь, относится а priori в его кантовской версии. Позиция Башляра заключалась в том, чтобы в процессе анализа научного познания «вернуть рационалистическим а priori их подлинный апостериорный вес» [Bachelard, 1966, p. 42]. Отказ от классического понимания рациональности и переход к новому (сюр)рационализму⁶⁹ теоретически вызван невозможностью объяснить те изменения, которые произошли в науке во второй половине XIX — начале XX вв. Классический рационализм, по мнению Башляра и его последователей, базируется на ньютоновской физике, евклидовой геометрии и аристотелевской логике, вплоть до недавнего времени считающимися единственными концепциями, способными дать научное знание о мире. С появлением новых физик, геометрий и логик, перевернувших теоретические основания этих научных дисциплин, должна появиться и новая философия, которая была бы в состоянии объяснить эти выдающиеся изменения.

Оба эти аспекта, в свою очередь, изменяют методологию истории науки, которая становится, по выражению Леона Брюнсвика, своего рода «лабораторией философа» [Chimisso, 2008, p. 71]. Более того, история науки в таком случае становится единственным доступным для философа предметом исследования, изучая который, он может получить знание о познающем субъекте (или рациональности) подобно тому, как ученый в своей лаборатории исследует окружающий мир.

Элен Метцжер, как и Гастон Башляр, считала себя последовательницей Леона Брюнсвика и разделяла его взгляд на роль истории науки для философских исследований познания. Именно ее концепция исторического а priori, а также ее работы по истории химии во многом повлияли на Томаса Куна и привели к историческому повороту в эпистемологии. Если историческая эпистемология во Франции XX века находилась по отношению к другим академическим философским дисциплинам в маргинальной позиции (см. [Fabiani, 2010, часть 2, гл. 8]), то Элен Метцжер была маргинальным мыслителем среди маргиналов (подробнее о причинах такого положения см. [Chimisso, 2003, p. 477–489]).

В то же время взгляд на методологию истории науки, ее роль для философских исследований и концепция исторического а priori, стоящая в основании этой методологии и предвосхитившая более поздние эпистемологические теории, получившие развитие в европейской и американской философии науки XX века, делают Элен Метцжер одним из наиболее интересных, равно как и недооцененных мыслителей.

Методология истории науки: от текста к мысли

История науки, стоящая на философских основаниях, по мысли Метцжер, противостоит «хронологическому эмпиризму» [Metzger, 1937, p. 204] классического исторического подхода, который в его крайней версии воплощается в виде хронологического документирования исторических текстов, фактов и открытий. Как для философа, так и для историка науки больше недостаточно просто описать обнаруженные им факты в исторической последовательности: для того, чтобы исследование истории науки имело ценность, в него необходимо привнести некую теоретическую базу, объединяющую разрозненные факты в единую концепцию. Концептуальная рамка для исторического исследования в то же время создается на философских основаниях. Это отношение к истории науки в целом разделяется всеми представителями исторической эпистемологии. Однако для Башляра основным критерием, относительно которого должно теоретически выстраиваться историческое исследование научного познания, является прогресс рациональности: «история науки не могла бы быть эмпирической историей

⁶⁹ Термин, предложенный Гастоном Башляром для определения нового качественного изменения теории рациональности наравне с понятиями «новый рационализм» и «новый научный дух».

<...> она является историей прогресса рациональных связей знания» [Башляр, 2016, р. 228].

Вершиной прогресса при этом становится современное философу состояние исследуемой им научной дисциплины, которое характеризуется как консенсус ученых относительно основных положений данной дисциплины. Современное состояние научной дисциплины становится критерием оценки ее прошлого, а априорный компонент заменяется на конвенцию, выработанную в рамках научного сообщества: «ученые и философы должны переместить свое внимание с утверждения истин на основании индивидуального *cogito* к подчинению так называемых истин *cogitamus* — сообществу ученых. Единственный путь выявления скрытых предпосылок, которые препятствуют дальнейшему научному прогрессу, — это сделать свое Я предметом наблюдения извне» [Lightbody, 2013, р. 43–44].

Консенсус ученых в качестве мерила исторического прошлого науки, с одной стороны, привносит новизну в классическое понимание научной рациональности, однако в одном аспекте остается ей комплементарным: индивидуальное (установки и убеждения ученого, его психологическое состояние, уровень профессионализма и пр.) только искажает объективную картину научного познания. И если эти факторы все равно будут присутствовать в процессе развития науки, так как она является делом ученых, то есть людей, то по меньшей мере можно с помощью некоторых теоретических процедур постараться исключить индивидуальные аберрации из картины научного прошлого и настоящего⁷⁰.

Для Метцжер «конечной целью было понимание ментальных процессов, стоящих за научными теориями и практиками» [Chimisso, 2008, р. 115], то есть непосредственный мыслительный процесс, ведущий к научному открытию. Основным теоретическим затруднением для историка и философа науки здесь является переход от текста, с которым он работает в силу специфики своей эвристической задачи, к ментальным состояниям автора, продуктом которых и становится данный текст. Действительно, текст вторичен по отношению к мысли его автора. Однако для историка мысль ученых прошлого может изучаться только опосредованно: через тексты, открытия, теории и описания экспериментов. Поэтому проблема перехода от текста к мысли является весьма нетривиальной герменевтической задачей.

Определяя свой подход к историко-философским исследованиям науки, Метцжер пишет: «Когда я говорю об истории наук⁷¹, я говорю об истории научной мысли и только о ней; все остальное в науке, включая наблюдение, эксперимент, измерение, вычислительные процессы и технику создания лабораторного оборудования, либо вообще не имеет к ней отношения, либо играет лишь вспомогательную роль для [научной] мысли или зарождения этой мысли» [Metzger, 1937, р. 205].

История науки здесь становится в первую очередь историей научной мысли, неотделимой от мыслящего ее ученого, но вполне автономной от всего того, что принято считать историей науки в классическом историческом подходе. На первый план, таким образом, выходят ментальные познавательные установки ученого. Тексты и факты, с которыми работает историк, являются уже готовыми продуктами мыслительного процесса. И задача историка — осуществить переход от фактического к ментальному.

⁷⁰ В качестве одного из возможных подходов Башляр называет психоанализ, с помощью которого можно было бы выявить такого рода индивидуальные особенности для того, чтобы впоследствии отделить их от непосредственного предмета исследования. Также он упоминает психологию науки в качестве возможной дисциплины-сателлита исторической эпистемологии.

⁷¹ Еще одной характерной чертой французских представителей исторической эпистемологии становится отказ от концепции единой унифицированной науки (в отличие от их англосаксонских коллег), поэтому все они говорят о философии наук, а не о философии науки (*philosophie des sciences*). Для русского языка словосочетание «философия науки» является устоявшимся, поэтому здесь я использую преимущественно его.

Поэтому, точно так же как ученый, начинающий исследование неизвестного ему феномена, принимает в качестве отправной точки те или иные априорные постулаты, историк науки должен отталкиваться от тех же постулатов в своем исследовании: «Я постулирую *a priori* то, что считаю истинным, и по мере возможности я это верифицирую» [Metzger, 1937, p. 209]. Вместо того, чтобы отказываться от априорных убеждений ученых прошлого, Метцжер предлагает выявить их и исследовать не только с сугубо исторической точки зрения, но и дать им философскую интерпретацию для того, чтобы лучше понимать структуру рациональностей прошлого, внутренние нормы, которым следовало научное развитие [Chimisso, 2003, p. 306]. Научная рациональность, таким образом, становится производной от индивидуальной научной мысли конкретного ученого.

Тем не менее подход к исследованию истории науки Элен Метцжер был в большей степени историческим, в отличие от философского подхода ее коллег: «Она четко показала, что в ее намерениях не было использования истории науки в качестве хранилища примеров для доказательства философских теорий» [Chimisso, 2008, p. 113]. В то же время история науки сама по себе, в отрыве от философского осмысления научного развития, не может претендовать на полноту рефлексии природы научного познания, поэтому одной из задач Метцжер видела теоретическое обоснование «среднего пути» между историей и философией науки, в котором «история науки <...> может по меньшей мере прояснить размышления философа, создающего теорию познания» [Metzger, 1935, p. 5].

Историческое a priori

В противовес доминирующему отказу от *a priori* при историческом анализе научного познания Элен Метцжер выдвигает тезис о том, что полный отказ от априорных предпосылок (как в научном, так и в историческом исследовании) невозможен. Наличие априорного компонента познания, предшествующего началу любого исследования, — то, что объединяет ученого, историка и философа науки, то есть, формирует методологическое единство познавательного процесса для представителей различных дисциплин.

В целом концепцию исторического *a priori* Метцжер можно охарактеризовать как первую систематическую попытку релятивизации понятия *a priori* на исторических основаниях и в связи с историческими исследованиями непосредственной научной практики. Изменения в науках, которые привели к кризису философии, требовали новых подходов к философскому определению познавательного процесса и научного развития. В теоретическом отношении у философов был выбор между двумя возможностями: (1) полный отказ от классических философских представлений о познании, включая терминологический аппарат, и создание принципиально новых философских концепций; (2) адаптация уже существующих концепций к современной действительности, к чему можно отнести и релятивизацию классического *a priori*.

Основной сложностью в исследованиях исторического *a priori* представляется то, что если классическая (кантовская) концепция предлагает четкое определение априорного, то здесь предлагается принципиально иной подход: *a priori* в истории научного знания должны быть выявлены историком науки (причем, историком философствующим) на основании их роли в развитии той или иной научной дисциплины. При этом для того, чтобы выявить такие *a priori*, историку науки нужно принять два важных постулата:

(1) Каждый ученый, приступая к своим исследованиям, руководствуется определенным набором априорных положений, которые он принимает в качестве истинных (по крайней мере, пока не доказано обратное). Любое научное исследование, таким образом, отталкивается от такого типа априорных положений, потому что в противном

случае у ученого не было бы никаких теоретических оснований или отправной точки для начала работы. Принять такой постулат довольно легко. Действительно, ни одно исследование не начинается с нуля, а базируется на ряде фактов, установок, убеждений и допущений⁷².

(2) «Постулат, который невозможно ни верифицировать, ни отбросить: человеческий дух в своих фундаментальных характеристиках похож на самого себя», и поэтому все многообразие внешних проявлений человеческой ментальности может быть сведено к вполне ограниченному набору характеристик, на основании которых возможно создание «каталога (пусть и неполного) возможных установок, с помощью которого можно создать рабочую классификацию некоторого количества гипотез, которые без изменения повторяются в науках и различных эпохах развития человечества» [Metzger, 1937, p. 206]. Второй постулат представляется более спорным. Тем не менее именно он является связующим звеном между индивидуальными установками ученого и общей рациональностью, разделяемой тем или иным сообществом ученых, осуществляя переход от научной мысли конкретного исследователя к научному развитию в целом.

Два эти постулата составляют теоретическое основание концепции исторического *a priori*. Согласно концепции Метцжер, «*a priori* не являет собой уже готовые и предшествующие опыту понятия, на которых основывается описание опыта, напротив, *a priori* представляет собой фундаментальные тенденции, которые порождают такого рода понятия» [Metzger, 1936, p. 33]. Отказ от четкого определения *a priori* в науке предоставляет исследователю значительную теоретическую свободу от классического понимания рациональности. По сути, такая постановка проблемы предлагает своего рода метаподход для историко-философских исследований науки, направленный на выявления самих оснований дисциплины.

Продолжая свое рассуждение, Метцжер утверждает, что не все *a priori* эксплицитно принимаются в качестве таковых: «к *a priori* в действии мы можем добавить *a priori* потенциальное и латентное, которое, при контакте с повседневным (а не только научным) опытом принимает форму *a priori* в действии» [Metzger, 1936, p. 33]. Таким образом, *a priori* ученого непосредственно связаны не только с его актуальными научными изысканиями и развитием научной дисциплины, но и с тенденциями исторической эпохи, его личным жизненным опытом и убеждениями, и являются элементом сложной конструкции, не ограничивающейся ни философской теорией, ни историческим документированием результатов научных исследований. «Метцжер интересовали не только [научные] практики, но и обнаружение мировоззрений и способов мышления, которые приводили к появлению данных практик» [Chimisso, 2008, p. 116]. История науки, таким образом, теряет свою автономию и вписывается в более широкий пласт истории развития человеческой цивилизации⁷³.

А *a priori* в науке, в отличие от классического определения априорного, не являются чем-то раз и навсегда установленным, а находятся в постоянном процессе динамических трансформаций, переплетаясь с опытом, определяя его и корректируясь в зависимости от новых эмпирических данных и теоретических открытий: «Первичные понятия, на которые опирается наука в каждый момент своего развития, не являются абсолютно данными; хотя некоторые из них в некотором смысле продиктованы нашим знанием чувственного мира, они являются в определенной мере пластичными, они могут

⁷² В качестве основного убеждения или допущения, например, можно выделить утверждение, что окружающий мир принципиально познаваем.

⁷³ Включение науки в более широкий контекст развития человечества и социальных институтов не является принципиально новым для исторической эпистемологии. В философии Башляра можно говорить о «прото-концепциях» социальной философии науки. В то же время для Метцжер влияние культурного контекста на содержание научных теорий не является непосредственным (как, например, в сильной программе социологии знания Дэвида Блура). Исторический контекст здесь скорее влияет на познавательные установки ученого, но не на само содержание научной мысли.

изменяться, чтобы гармонировать с совокупностью наших знаний, или наоборот, они могут изменять нашу спонтанную систему мира» [Metzger, 1937, p. 215], а потому «не существует единственного а priori, но множество отличных друг от друга, иногда гетерогенных и несопоставимых а priori» [Metzger, 1936, p. 33]⁷⁴.

Такой взгляд на природу априорного можно охарактеризовать как радикальную релятивизацию а priori, которая, в свою очередь, ограничивается введением второго постулата. Будучи продуктом развития человеческого духа, а priori в научном развитии подчиняются более фундаментальным законам, которые еще предстоит выявить представителям таких гуманитарных дисциплин, как антропология, социология, психология и теория познания. Поэтому многообразие а priori, присущее историческому развитию научного познания, все же носит ограниченный характер и потенциально подлежит научному (историческому) исследованию и классификации.

Прогресс и историчность научного знания

Для представителей французской исторической эпистемологии история науки и ее философское осмысление были необходимы в первую очередь для того, чтобы лучше узнать и понять природу человеческого разума и рационального, крайним проявлением которого становится научное познание. Философия науки Элен Метцжер в этом случае находится в русле данного течения: «Метцжер видела свою работу в качестве части более широкой истории разума и как вклад в решение задачи улучшения нашего знания о разуме» [Chimisso, 2008, p. 122].

Однако если для большинства представителей исторической эпистемологии характерно вполне позитивистское понимание науки как прогресса от более примитивных познавательных практик к практикам более развитым и сложным, а потому и более «рациональным», то вводимые Метцжер постулаты противоречат такому позитивистскому (в контовском смысле) взгляду на историю науки. Для Башляра «история науки всегда описывается как история прогресса познания» [Башляр, 2016, p. 222], а «уже из того факта, что наука эволюционирует в смысле явного прогресса, история науки необходимо является определенной последовательностью смещающих друг друга ценностей научной мысли» [Башляр, 2016, с. 221]. Элен Метцжер (предвосхищая Мишеля Фуко, который довел релятивизацию познавательных норм в исторической эпистемологии до ее логического предела) уже в середине 1930-х годов явно указывает на то противоречие, к которому приходит историческая эпистемология в ее французской версии.

Парадоксальным следствием теории Метцжер является тот факт, что если развивать ее мысль до логического завершения, то понимание прогресса в том виде, в котором его представляли французские исторические эпистемологи, невозможно. Действительно, если человеческий разум тождественен в основных своих проявлениях на протяжении всех этапов развития научного знания, то системы а priori, на основании которых осуществляются научные исследования, равноценны и равнозначны. Тот консенсус ученых, исходя из которого выстраивается оценка исторических научных исследователей, представляет собой всего лишь одну из возможных «систем рациональности», постулаты и следствия из которой сохраняют свою легитимность исключительно для нее самой, а потому не могут быть критерием оценки для другой «системы рациональности» (или, в башлярской терминологии, рациональной ценности).

Если для версии исторической эпистемологии, предложенной Башляром и его последователями, одной из основных задач исторического исследования было составление своего рода иерархической модели ученых прошлого, так как «история науки

⁷⁴ Здесь стоит отметить, что аналогичное утверждение о существовании разнящихся и не всегда сопоставимых друг с другом а priori несколькими годами позже сделает Артур Пап — создатель теории функциональных а priori.

в сущности является историей, подлежащей суждению» [Башляр, 2016, с. 224], то из принятия «гетерогенных и несовместимых друг с другом» исторических а priori (то есть, по сути, систем рациональности) следует невозможность маркировки ученых прошлого как хороших или плохих, а научного познания как исключительно направленного на прогресс. Тем не менее, именно такой подход к анализу истории науки, как это заметила Кристина Кимиссо [Chimisso, 2003, p. 305], оставляет приоритет в исследованиях познавательного процесса за философией (теорией познания), а не за историей.

Философское познание, некогда наиболее фундаментальное по сравнению с естественнонаучными дисциплинами, постепенно отделяющимися от него, теряет свой авторитет из-за успехов естественных наук, как в теоретическом, так и в техническом отношении. И если мейнстрим французской исторической эпистемологии принимал второстепенную роль философии по отношению к науке, при которой философ воспринимает современную ему науку как эмпирическую данность, с которой ему необходимо согласовывать собственные теоретические построения, проект исторической эпистемологии Элен Метцжер, напротив, подразумевает принципиальную значимость философской теории для анализа научной практики. Реконструируя исторические а priori, на основании которых строились научные практики исследователей прошлого, Метцжер, с одной стороны, стремится описать уникальность и ценность каждой эпохи научного развития. В то же время, основываясь на постулате единства человеческого разума, их индивидуальных исторических а priori, она стремится выделить фундаментальные закономерности и тенденции, определяющие рациональность, — одно из главных свойств человека.

В целом для исторической эпистемологии в ее французской версии характерен поиск срединного пути между, с одной стороны, отказом от жесткой нормативности классических концепций рациональности, которые были не в состоянии теоретически обосновать революции в научном познании XX, а с другой стороны, тотальной релятивизацией познавательных практик и инструментов. Для Башляра разрешение этого противоречия состояло в постулировании очевидности научного прогресса, теоретического превосходства современности науки над ее прошлым, подлежащим суждению и оценке. Для Элен Метцжер способом избежать тотального релятивизма становится постулат о тождественности познающего разума и отказ от презентистского взгляда на историю науки, который, в свою очередь, является отказом от прогресса.

Тем не менее если рассматривать теорию исторических а priori Элен Метцжер в качестве методологической базы для исследовательского проекта в рамках исторической эпистемологии, то, несмотря на всю его оригинальность, такой проект представляется вполне осуществимым. Вопрос об интеллектуальной честности философствующего историка, который выбирает из истории подходящие под его теорию факты и использует их в качестве иллюстративных примеров и доказательства собственной правоты, здесь разрешается посредством явного эксплицитного выражения исследовательских предпосылок, одной из которых является тезис о тождественности человеческого разума самому себе. Обращаясь к текстам ученых прошлого на основании такой установки, эпистемолог переходит от анализа понятий, концепций и практик, их трансформаций к тем фундаментальным тенденциям, которые и являются условием возможности научного познания, а следовательно, к фундаментальным свойствам человеческого разума, найти и определить которые — стремление психологов, антропологов, историков, философов, то есть представителей практически всех фундаментальных дисциплин.

Глава 5. Историческая эпистемология в поисках онтологии*

В главе рассматриваются отношения между исторической эпистемологией и исторической онтологией. Показывается, что для исторической эпистемологии наиболее важной является проблема перехода от одной системы знаний и ее конститутивных принципов к другой, разрыва между ними, а не их последовательности. Но возможно ли найти онтологический аналог этого перехода? Защищается тезис о том, что исторической эпистемологии, если она намерена сохранить традиционную связь с естествознанием, следует прояснить свое отношение к исторической онтологии посредством прояснения и обоснования научного характера последней.

Ключевые слова: философия науки, историческая онтология, историческая эпистемология, история науки, трансцендентальный метод.

Эпистемологическое обоснование науки

Теоретическая философия традиционно разделяется на две основные области — онтологию и эпистемологию. Она исследует, во-первых, все, что существует, и, во-вторых, условия и пределы нашего знания о том, что существует. Классическая эпистемология стремилась установить абсолютные критерии истинного (объективного) знания. Для Канта таковыми были трансцендентальные условия познания, раскрывая которые, философия априори оправдывала (эмпирический) реализм и обезвреживала традиционный (эмпирический) скептицизм. Априорное исследование условий познания, с точки зрения Канта, было единственным средством избавить философию от скептицизма, который являлся неизбежным ответом философии на притязания традиционного реализма, не вооруженного трансцендентальным методом. Скептик всегда оказывается прав, а позиция реалиста изначально уязвима, потому что у нас нет никаких средств выйти за пределы собственного опыта и сравнить наше знание вещей с вещами самими по себе. Но как только мы занимаем трансцендентальную позицию, т. е. обращаем свое внимание не на вещи (что тщетно), а на собственную познавательную способность, мы восстанавливаем в правах познание вещей и мира как *внешних* вещей и *внешнего* по отношению к нам мира. Мы осознаем, что *внешний* характер вещей генерирован нашей познавательной способностью, благодаря которой достигается объективное познание вещей *в опыте*.

Предложенное Кантом обоснование реализма посредством трансцендентальной философии, которая должна быть априори предпослана любым утверждениям о внешнем мире, привело к тому, что в философии эпистемология заняла доминирующую по отношению к онтологии позицию. Несмотря на то, что Кант видел свою задачу в защите реализма⁷⁵ против скептицизма, реализм, который обосновывался трансцендентальным методом, так и не получил со стороны последующих философов признания в качестве *полноценного* реализма. Да и как мог он считаться полноценным, если из трансцендентальной философии Канта следовало, что реальность (существование объектов и процессов в мире и самого мира в целом) *зависит* от субъекта, пусть даже от способно-

© О.Е. Столярова

* Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-011-00281 А «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы». Исходная версия текста главы представлена в [Столярова, 2018а].

⁷⁵ Кант называл свою позицию трансцендентальным, или критическим, идеализмом для того, чтобы отличить ее от традиционного реализма (метафизики) и различных форм некритического идеализма (скептицизма) [Кант, 1965, с. 110–111]. «...Мой так называемый идеализм касался не существования вещей — сомневаться в этом мне и в голову не приходило (а ведь именно такое сомнение и составляет суть идеализма в общепринятом значении слова), — а только чувственного представления о вещах» [там же, с. 110].

сти субъекта к объективному познанию? «Все же, с трансцендентальной точки зрения, т. е. когда мы находимся внутри того вида исследования, которое одно только и способно удовлетворительно объяснить, как возможно наше познание, с этой точки зрения, все, что мы знаем в науке и повседневной жизни, оказывается в конечном счете субъективным или зависящим от человеческой чувственности. Это не есть знание того, как вещи действительно и независимо от нас существуют» [Stroud, 1984, p. 167].

Подчиненное положение онтологии по отношению к эпистемологии имело своим следствием то, что онтологические вопросы (что существует? как устроен мир? какие процессы происходят в природе и каким законам они подчиняются? и т. п.) были переданы поскантовской критической философией в ведомство эмпирической науки, естествознания. Философия же должна была обеспечить обоснование самой возможности познания, обращаясь к априорному исследованию трансцендентальных условий познания, т. е. должна была стать по преимуществу эпистемологией, не вытекающей из онтологии, но предваряющей ее.

Исходя из модели Канта, между онтологией и эпистемологией устанавливаются следующие отношения. Онтология сообщает нам содержательное знание о мире (объектах и процессах), а эпистемология объясняет, почему нам следует считать это знание объективным. Причем она объясняет это *заранее*, еще до того, как конкретное содержание будет получено. Иными словами, эпистемология обосновывает не само содержание научного познания, а способ, посредством которого это содержание будет получено и признано объективным. Слово «заранее» не совсем подходит. Если бы эпистемология всегда предшествовала науке во времени, то ее методологические изыскания претендовали бы на характер предписаний ученым. «Делай так, как я велю, начиная исследование с трансцендентальной установки, — сказал бы тогда философ ученому, — и ты получишь объективное знание». Но не будем забывать, что Кант исходил из того, что научное знание *уже* существует в действительности, а не только в возможности, и стремился объяснить уже существующую науку, уже полученное естествознанием объективное знание⁷⁶. Ученые («натуральные философы») справились самостоятельно и построили объективное знание *до того*, как Кант сформулировал положения трансцендентальной философии. Хотя Кант и отталкивается от реально существующей науки, предложенный им трансцендентальный метод оказывается индифферентен по отношению к конкретным результатам науки и историческому времени, в котором развивается наука. Какими бы новыми знаниями естествознание нас ни снабдило, это не может ни изменить, ни отменить принципы объективного познания в том виде, в котором они представлены в трансцендентальной философии. И несмотря на то, что сама трансцендентальная философия является историческим фактом и, как любой факт, может считаться исторически случайной, логически она необходима, потому что она представляет собой единственный способ (так полагал Кант) дать удовлетворительное объяснение нашему познанию мира (любому возможному опыту).

На первый взгляд, такая модель отношений между онтологией и эпистемологией гарантирует естественнонаучной онтологии и философской эпистемологии свободу в рамках их внутренних принципов и независимость друг от друга. Первая эмпирически изучает *внешнее* и на основании опыта строит теории относительно *внешнего*, вторая априорно исследует абсолютные и необходимые (вневременные) принципы эмпирического изучения *внешнего*, которые позволяют конструировать *внешнее* как теоретический объект. Ученые могут не обращать внимание на философов (латентное философское наследство зацементировано в фундамент естественнонаучного метода⁷⁷) и де-

⁷⁶ «Таким, образом, в самом деле имеется чистое естествознание; спрашивается лишь: *как оно возможно?*» [Кант, 1965, с. 113].

⁷⁷ Во времена Канта естествознание еще не вполне отделилось от философии и даже сохранило название «натуральной философии», но предпосылки такого отделения уже сложились, а его принципы в наиболее отчетливой форме были сформулированы Кантом.

лать свое дело, а эпистемологи — делать свое, используя по мере надобности конкретные научные результаты в качестве примеров, подтверждающих существование объективного знания, возможность которого они удовлетворительно объясняют. Кант находит такие примеры в современном ему естествознании. Во-первых, в основании современного естествознания лежат априорные понятия субстанции и причины, и, во-вторых, зависящие в некоторой степени от опыта понятия движения, непроницаемости (материи) и инерции, которые в сочетании с априорными понятиями образуют каркас математической физики, заключающей в себе необходимую «закономерность всех предметов опыта» [Кант, 1965, с. 112–113].

На самом деле, в кантовской модели онтология и эпистемология очень тесно связаны, причем эта связь в большей степени захватывает эпистемологию. Трансцендентальная философия вычитывает из результатов науки то, что оправдывает саму трансцендентальную философию. Всеобщие законы природы, открытые современной Канту физикой, свидетельствовали в пользу объективных законов мышления, которые интерпретировались как принципы конструирования всеобщих законов природы. Устойчивость (неизменность) материи, необходимая связь механической причины и действия, инерция как способность тел удерживать субстанциальное состояние, обратимость времени, пустое евклидово пространство как вместилище тел — все эти фундаментальные характеристики и законы мироздания переводились в термины трансцендентальной философии, которая объясняла их, исходя из постулируемых ею неизменных принципов *познания вообще* (неизменных когнитивных структур) и показывала тем самым, что принципы построения научной онтологии имеют априорный, а не эмпирический статус. Эти принципы *познания вообще*, «эти когнитивные структуры были призваны описать неизменную и абсолютно универсальную рациональность, присущую всем человеческим существам в любое время и в любом месте, и объяснить, почему математическое естествознание (математическая физика Ньютона) представляет собой модель или пример такой рациональности» [Friedman, 2002, p. 25]. Оно представляет собой этот пример потому, что законы природы, которые оно открывает, существуют только в отношении к трансцендентальной структуре субъективности. Таким образом, естественнонаучная онтология с одной стороны и эпистемология с другой стороны зависят друг от друга. Объективный характер естественнонаучной онтологии зависит от эпистемологического ее обоснования в терминах трансцендентальной субъективности, а эпистемологическое обоснование зависит от того, что оно обосновывает, — от онтологии природы. Как было сказано, такая зависимость в гораздо большей степени затрагивает эпистемологию, само существо которой состоит в обосновании познания, нежели естественнонаучную онтологию, задача которой состоит в том, чтобы изучать внешнее, а не в том, чтобы изучать принципы изучения внешнего.

Сильнейшая сторона кантовского проекта критической (трансцендентальной) философии состояла в том, что данный проект был направлен на обоснование уже существующей науки, т. е. на рациональное обоснование самой рациональности. Кант настаивал на тождественности логики трансцендентального метода и логики самой науки. Отрицание кантовской модели повлекло бы за собой отрицание принципов научного подхода к исследованию природы и полученных современной Канту наукой общезначимых результатов. Но та же сильнейшая сторона обернулась против кантовской трансцендентальной философии и основанной на ней эпистемологии. Произошло это, по-видимому, тогда, когда стало очевидно, что наука не оправдала ожиданий философов и своими результатами поставила под вопрос принципы трансцендентальной философии, которые по определению не должны были зависеть от конкретных научных результатов. С точки зрения неоправданных ожиданий, нас интересуют прежде всего те философы, которые в своих эпистемологических построениях продолжали ориентироваться на точное естествознание, а не на спекулятивные интерпретации трансцендентальной субъективности, которые, как показывает пример немецких клас-

сических философов, далеко уводили философию от реальной (фактической) науки и ее результатов. Те же, кто следовал проекту Канта в своем стремлении дать эпистемологическое обоснование точной науке, постепенно изменили саму эпистемологию, историзировав основоположения последней в ответ на революционную историю науки. История науки в конце XIX — начале XX вв. предстала как история изменения онтологии, а не история накопления результатов опыта, который согласовался бы с априорно установленными когнитивными структурами, обосновывающими онтологию физики Ньютона. Открытие неевклидовых геометрий, субатомных частиц, открытие теории относительности, изменение характеристик пространства, времени, движения, массы и т. д. — все это привело к фундаментальной онтологической перестройке здания физики и инициировало такие эпистемологические проблемы, которые не могли быть удовлетворительно решены в терминах кантовской трансцендентальной философии, базирующейся на примерах априорного знания, которое служило выражением вневременной объективности.

Эпистемология становится исторической

Процесс историзации эпистемологии, благодаря которому на карте гуманитарных дисциплин XX в. все отчетливее проступали контуры «исторической эпистемологии», осуществлялся в двух основных направлениях. Одно из них можно назвать трансцендентальным, а другое — эмпирическим. Они представляют собой две главные точки роста исторической эпистемологии. Первая заключалась в продолжении работы с понятием трансцендентальной субъективности и в постепенной историзации ее структуры⁷⁸, что выражалось в рассмотрении истории как процесса порождения смысла *исторического* трансцендентальным субъектом. Вторая — в отказе от понятия трансцендентальной субъективности и подчинении эпистемологии эмпирической науке и ее фактической истории. Первое направление привело к тому, что может быть названо культурно-историческим обоснованием науки. Здесь науки о природе выступили как эпифеномен наук о духе в его истории. Наука является продуктом культуры, и ее онтологические результаты — не что иное, как перевод исторического характера трансцендентальной субъективности в термины «природы» («...“истинная” природа естественных наук есть продукт духа, исследующего природу» [Гуссерль, 1994, с. 125]). Культура как смысловое поле деятельности духа формирует уникальные и преходящие исторические априоры, сквозь призму которых человек смотрит на мир, а ученый на факты. Так понятая историческая эпистемология исходит из того, что абсолютных критериев истинного знания не существует, они меняются от эпохи к эпохе и существуют наподобие парадигм Т. Куна, исторических ансамблей Курта Хьюбнера, эпистем Мишеля Фуко и т. д. в качестве исторических форм априорного знания [Касавин, 2005], или исторических форм трансцендентальной конституции онтологических систем. Второе направление согласно с первым в том, что не существует абсолютных критериев объективного знания. Оно делает этот вывод, исходя из того, что априорное знание может быть эмпирически (посредством естественных наук) пересмотрено (постоянно пересматривается), и не ищет трансцендентального обоснования этому факту. Из истории науки следует, что «наши основания для принятия одной или другой системы геометрии или механики (в действительности, математики в более общем смысле или логики) по сути относятся к тому же самому виду, что и чисто эмпирические соображения, которые поддерживают любую другую часть нашей универсальной теории природы» [Friedman, 2002, p. 25]. Эмпирическое направление сближало эпистемологию с различными формами натурализма, который стремится вывести нормативные (или условно нормативные) характеристики знания из дескриптивных. Например, натурализованная эпистемология Уил-

⁷⁸ Будущая историзация в свернутом виде содержалась в кантовском понятии трансцендентального субъекта как конечного, чьи метафизические претензии ограничены опытом.

ларда Куайна, стирающая границы между синтетическими и аналитическими утверждениями, предлагала изучать зазор между «бедным входом» (чувственными данными) и «богатым выходом» (естественнонаучными онтологиями) средствами эмпирической науки, развитие которой, полагал Куайн, должно привести к прогрессу до сих пор неудовлетворительного эпистемологического обоснования науки [Quine, 1969].

Такая двойственность исторической эпистемологии помещает ее между «молотом и наковальней» — между эмпирическим исследованием, которое ставит под вопрос философскую автономию, и трансцендентальным подходом, связь которого с реальной (фактической) наукой и ее результатами становится все более проблематичной (об этой связи будет сказано ниже). Эта двойственность проявляется среди прочего в запутанных отношениях экстерналистского и интерналистского прочтения истории науки, что, я полагаю, побудило Питера Галисона сформулировать вопрос о *контексте*, адресованный философской истории науки (History and Philosophy of Science), весьма близкой по своим интенциям и методам исторической эпистемологии [Galison, 2008, p. 112–113]. Чем является пресловутый «контекст», на который ссылаются исторические эпистемологи для объяснения развития науки? Содержит ли он *причины* того или иного фактического результата науки или «контекст» — это иное выражение для исторически истолкованного кантовского термина «условия возможности»? В первом случае *контекст* требует от эпистемолога основанного на фактах каузального объяснения того, что эпистемолог должен объяснить, столь же строгого, как в естественных науках, во втором — указывает на подвижное и неопределенное смысловое поле, в котором формируются конкретные факты науки, и предъявляет эпистемологу требование не столько объяснения, сколько понимания.

Следует сказать, что этот вопрос нельзя разрешить средствами одной лишь исторической эпистемологии. Он отсылает к метапозиции по отношению к исторической эпистемологии, т. е. такой позиции, которая могла бы прояснить причины или условия возможности самой исторической эпистемологии и предложить ее обоснование.

Вероятно, ответ на этот вопрос требует прояснения действительного или возможного отношения исторической эпистемологии к онтологии. Если *неисторическая* эпистемология Канта предполагала фактически данную в виде классической механики *неисторическую* онтологию, предполагала ее как способ своей фактической реализации, то не означает ли это, по аналогии, что историческая эпистемология ориентируется, соответственно, на некую новую, *историческую*, онтологию? Однако такая аналогия упрощает дело и сама по себе мало что объясняет. Прежде всего, недостаточно просто сказать, что наука изменилась — и эпистемология тоже. Можно, конечно, констатировать это изменение на двух фронтах: естественнонаучном и эпистемологическом, но работа ученого или философа состоит в том, чтобы показать неслучайный характер связи между этими двумя «событиями». Эпистемология же в принципе не может избежать вопроса об этой связи, если она продолжает проект Канта (и всей нововременной теории познания), который заключается в том, чтобы осмыслить (обосновать, объяснить) естествознание. Отсюда, далее, следует вопрос: о какой онтологии мы говорим, когда говорим об *исторической онтологии* — о научно обоснованной (естественнонаучной) онтологии или о спекулятивной? Если каждый естествоиспытатель в основоположениях своей науки является философом, на чем и строилось кантовское обоснование естествознания, которое объясняло, почему эти философские основоположения согласуются с опытом⁷⁹, то историческая онтология должна принадлежать философским основаниям естественных наук. Но если кантовское обоснование естественных наук поставлено под вопрос самим естествознанием, тогда что мы можем

⁷⁹ Кант предложил формальное обоснование таким философским категориям, как субстанция, причина и др., которые лежат в основании научного опыта, но из опыта не извлекаются. Согласно Канту, они согласуются с опытом потому, что опыт организуется трансцендентальной субъективностью по определенным правилам.

сказать о философских основаниях естествознания и о самой связи естественнонаучной онтологии и философской эпистемологии? Если же историческая эпистемология связана не с естественнонаучной, а со спекулятивной онтологией, то не должна ли она тогда заранее (a priori) распрощаться с идеей что-либо понять и объяснить относительно реальной (фактической) науки?

Возможна ли историческая онтология?

Наконец, хотя этот вопрос и есть, вероятно, фундаментальный по отношению ко всем вышеобозначенным трудностям, — о какой онтологии, или о каком бытии, изучаемом онтологией, могло бы говорить определение *историческая*? Как минимум начиная с Гегеля, история становится философской дисциплиной. Это означает, что история предстает не только как эмпирическая последовательность уникальных событий, но, прежде всего, как идея, как смысл, который, соответственно, есть смысл самого исторического изменения. Онтология же традиционно изучала бытие, а не становление, неизменное, а не изменение. Изменение, как полагали, не могло быть предметом мысли. В основании традиционной онтологии лежало понятие субстанции, по отношению к которой любое изменение признавалось акцидентальным. Для того, чтобы связать онтологию и историю, Гегелю потребовалось переосмыслить понятие субстанции, соединив его с понятием субъекта, который еще со времен средневековой христианской философии наделялся свойством творческого преодоления собственных пределов, свойством самодвижения, саморазвития, или саморефлексии. Субъект-субстанция Гегеля — это не статичное самотождественное бытие, а развивающийся дух, или разум, который в своем движении образует историю и ее объективные формы — науку, культуру и т. д. Если следовать Гегелю, то предметом исторической онтологии становится бытие духа, или разума, в его развитии. Причина этого развития совпадает с целью, поскольку развитие духа обуславливается его стремлением обрести самого себя. Исходя из этой теоретической модели, историческая онтология должна была бы сосредоточиться на исследовании целевой причины изменяющегося бытия, каковой является спонтанность духа, и на исследовании ее объективных следствий — исторических форм рациональности. Так понятая историческая онтология совпала бы в основном с исторической эпистемологией. Но проблема заключается в том, что в данном случае связь между исторической онтологией (исторической эпистемологией) и естествознанием остается непроясненной. Например, для Германа Когена совершенно очевидно как раз *отсутствие* такой связи: «наука стала путеводной нитью мирового духа. Гегель пренебрег подобной опекой. Он отверг исторический авторитет Ньютона, а с ним — и любой авторитет науки для философии» [Коген, 2012, с. 86].

Упрек Когена справедлив. Естествознание (как минимум его фундаментальная часть — математическая физика) не изучает целевые причины. Эпистемология, основанная на кантовском трансцендентальном методе, недаром вывела из рассмотрения целевую причину, потому что всеобщие законы природы, которые открывает естествознание, выражают именно действующую причину, относящуюся к субстанции, постоянной в своих изменениях. «Причинность, помысленная как порядок последовательных восприятий, определяет их к объекту, конституирует в этом их отношении предмет опыта. Если смена событий причинно определяется как смена состояний одной субстанции, то она объективируется» [там же, с. 466]. Неисторическая эпистемология Канта адекватно выражала данный тип объективности⁸⁰, в рамках которого только, как полагал Кант, возможна наука, т. е. единственная согласующаяся с опытом онтология. Историческая же эпистемология, которая настаивает на диахроническом плюрализме онтологических систем, должна, на мой взгляд, привести свою точку зрения в соответ-

⁸⁰ Этот тип объективности формируют, конечно, не только основоположения о причинности и субстанции, но тесно связанные с ними представления о пространстве, времени, движении.

ствие с самим естествознанием и, даже прежде, объяснить, как это сделал Кант, сами принципы этого соответствия, ибо мы знаем разные типы соответствия, и причинная обусловленность — только один из них. Задавая вопрос о том, каковы *причины* диахронического разнообразия онтологий, историческая эпистемология неизбежно оказывается вовлечена в онтологическую проблематику естествознания. Если само развитие естествознания опровергает кантовскую модель, в которой принцип действующей причины был положен в основание науки как априорный конституирующий принцип, отвечающий за всеобщие законы природы, то не означает ли это, что данный принцип есть философская (и научная) гипотеза, которая, как и законы природы, проверяется и корректируется результатами науки? Что в таком случае можно было бы сказать об исторической онтологии, ее предмете и методе? Если она принадлежит философской составляющей естествознания, то не является ли она результатом новых открытий в области физики? Не утверждает ли она по определению, что сами законы природы могут изменяться?

В начале XX в. вопрос о возможном изменении законов природы задает Анри Пуанкаре. Он отвергает эту возможность. Он считает, что вопрос об изменении или неизменности самих законов природы как существующих «вне разума, который их создал и наблюдал, <...> не только неразрешим, но и не имеет никакого смысла. К чему нам задаваться вопросом, могут ли законы изменяться со временем в мире вещей в себе, если в таком мире само понятие времени, может быть, не имеет смысла?» [Пуанкаре, 1990, с. 540]⁸¹. Конвенционализм относительно фундаментальных представлений о пространстве, времени и материи, развиваемый Пуанкаре, сохраняет кантовскую критическую установку на внутренний опыт и субъективное конституирование «внешнего» мира, хотя и выражает философские усилия, направленные на то, чтобы исправить кантовский трансцендентальный метод в соответствии с новыми научными открытиями (открытием неевклидовых геометрий, применяемых для описания физического мира). Трансцендентальный априоризм Канта Пуанкаре заменяет свободным выбором ученых между возможными системами геометрии и механики (способность к их построению, полагает Пуанкаре, интуитивно дана априори), выбором, который в конечном счете стремится к оптимальному (максимально экономному) описанию опыта. В похожем духе рассуждает Томас Кун, описывающий смену парадигм в науке как переключение гештальта, когда одни конститутивные принципы «вдруг» заменяются другими. Такой свободный (прагматический?) выбор ученых, который и составляет предмет попечения исторической эпистемологии, интересующейся именно *изменением* конститутивных принципов научного познания, тем не менее оставляет вопрос о ее отношении к онтологии открытым. Если в рамках парадигмы, или выбранной системы конститутивных принципов, наука по-прежнему имеет дело с устойчивыми и неизменными законами природы, то найти в естественнонаучной онтологии аналог самому *изменению* оказывается невозможно.

Такие попытки, впрочем, предпринимаются, и они, по-видимому, отражают усложнение естествознания. Например, Гастон Башляр связывает проект исторической эпистемологии с динамической онтологией современного ему естествознания, которое в физике микромира и химии переходит от анализа «бытия» (субстанции) к анализу «становления», от исследования статичного вещества к исследованию процесса самого

⁸¹ Марио Бунге считает иначе, связывая законы природы не только с количественными, но и с качественными уровнями ее организации. «Возникающие законы не обязательно должны быть совершенно и абсолютно новыми, то есть новыми независимо от конкретных условий; они лишь должны быть новыми по отношению к законам, которым подчиняется рассматриваемый предмет, развивающийся до того момента, когда появляются новые формы поведения. Несколько таких возникновений новых систем качеств, по-видимому, сопровождаемых возникновением новых законов, могли произойти и могут произойти в будущем в первый раз в истории вселенной, как, по-видимому, произошли уровни жизни, мышление и социальная организация» [Бунге, 2010, с. 244].

изменения, «диалога между веществом и энергией» [Bachelard, 1966, p. 66]⁸². Что же касается сегодняшних представителей исторической эпистемологии, Яна Хакинга и Питера Галисона, то они употребляют термин *историческая онтология* для описания исследовательской практики, которая имеет дело с тем, как и при каких условиях осуществляется синтез бытия и познания — возникают новые объекты и концепции, т. е. как объекты и концепции «становятся существующими» (come into being [Hacking, 2002, p. 2]; come into existence [Galison, 2008, p. 117]. Хакинг связывает как род и вид историческую онтологию и историческую *метаэпистемологию*. Последняя исследует то, как новые объекты (не обязательно, кстати, непосредственно научные) и практики взаимодействия с ними порождают новые способы и принципы нашего познания объектов [Hacking, 2002, p. 9]. Такая позиция может быть названа конструктивистской (исторической) онтологией, которая пытается учесть двойственную (материальную и духовную) природу производства знания и выводит принцип *изменения* из этой двойственной природы. Но опять-таки возникает вопрос: может ли и должна ли эта конструктивистская (историческая) онтология претендовать на научный характер?

На мой взгляд, исторической эпистемологии следует прояснить свои отношения с онтологией, и если историческая эпистемология подразумевает историческую онтологию, то следует обосновать научный характер последней. Я думаю, что обоснование научного характера исторической онтологии могло бы стать ее позитивной программой. Если же сама историческая эпистемология — это все еще *проект*⁸³, вопрос не только не снимается, но, возможно, становится даже более насущным. По сути дела, этот вопрос имеет прямое отношение к вопросу о реализме, который вновь и вновь возникает в философии, и в особенности в философии науки, несмотря на его, казалось бы, окончательное решение, сформулированное Кантом.

⁸² Цит. по: [Визгин, 1996, с. 97].

⁸³ «Историческая эпистемология — это некоторое не преодолевшее порог дисциплинарности концептуальное пространство, лишенное строгих границ и четких очертаний, где размещаются вследствие отказа от фундаментальных философских очевидностей в отношении знания его новые проблематизации и где пытаются с ними каким-то образом работать, в том числе в режиме радикального теоретического воображения и экспериментирования» [Гавриленко, 2017а, с. 26]. О проблемном поле исторической эпистемологии см. [Шиповалова, 2017а].

Глава 6. Практики рефлексивности в исторической эпистемологии и воображение как условие их возможности⁸⁴

Историческая эпистемология сталкивается в своих исследованиях с целым рядом проблем, отчасти оказывающихся наследием прошлого и общим эпистемологическим контекстом XX в., отчасти вызванных собственной идентичностью. Часто многие исследовательские проблемы можно представить в их взаимосвязи и указать на возможность — практическую и трансцендентальную — их разрешения, что и будет сделано в этой главе. Речь пойдет о необходимости обнаружить срединный путь между установками философа науки, предлагающего нормы и правила для реконструкции, объяснения и понимания исторического многообразия научного опыта, и того исследователя науки, который этот опыт обнаруживает и описывает. Этот срединный путь может позволить не только преодолеть крайности нормативизма и дескриптивизма и способствовать конструктивным взаимодействиям философа науки и эпистемолога с одной стороны, а также социолога и историка науки с другой. На этом пути будут раскрываться возможности исторической эпистемологии в синтезе подходов историка науки и историка эпистемологии, обращающегося к философским исследованиям познания. Кроме того, на этом пути будут продемонстрированы и дополнительным образом обоснованы рефлексивные возможности исторической эпистемологии.

Ключевые слова: нормативность, реконструкция истории науки, рефлексия, воображение, Кант.

Введение

В современной традиции исследований науки — в философии науки, социологии научного знания, исторической эпистемологии — очевиден критицизм относительно установки нормативизма. Суть критикуемого подхода можно прояснить, отослав к позиции И. Лакатоса, предполагающего, что философия науки должна вырабатывать нормативную методологию для рациональной реконструкции истории науки, а также для последующей оценки конкурирующих научных теорий [Лакатос, 2003]. Такой подход представляется ограниченным во многих смыслах. Во-первых, он не разрешает, но, напротив, усугубляет проблему междисциплинарных взаимодействий в исследованиях науки, поскольку отводит историку науки подчиненную роль «поставщика материала» для наполнения содержанием нормативной методологии философа. Подобное разделение труда далеко не способствует конструктивному диалогу философов и историков, исследующих науку, и отчасти объясняет неудачи проекта истории и философии науки, по крайней мере, на институциональном и отчасти на академическом уровне [Kuukkanen, 2016]. Во-вторых, подход нормативизма не способствует развитию самой эпистемологии и философии науки. Рассматривая научные теории как подлежащие оценке с «высоты» определенной методологии, априори определенных критериев

© Л.В. Шиповалова

⁸⁴ Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-011-00281 А «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы».

В основу данной главы положены тексты ранее опубликованных статей [Шиповалова, 2019б; Shaposhnicova, Shipovalova, 2019]. Также хотелось бы воспользоваться случаем и поблагодарить Ю. В. Шапошникову, тексты которой также представлены в главах данной монографии, соавтора многих моих статей на английском языке. Без чуткого внимания Юлии Владимировны к существу мысли и к выражению ее в слове они бы не могли состояться.

научности, следующий нормативной установке философ не замечает неисчерпаемости и порой непредсказуемости научных практик. Часть научной деятельности, не вписывающейся в прокрустово ложе нормативной методологии, остается полю интерпретации социологии, психологии, внешней истории науки, интересующихся случаем, обедняя при этом эпистемологическое исследование. Кроме того, этот подход исходит из заданных представлений об истинности или ложности, успешности или провале научных исследований и применяет соответствующие нормы исключительно к оценке уже завершенного научного знания, ограничивая тем самым свое возможное участие в процессах его производства. В-третьих, такой подход оказывается неадекватным, поскольку предполагает, что сама оценка теорий в качестве истинных и ложных как основание нормативности может быть окончательной и вневременной, что противоречит идее относительности научного знания и той фактической трансформации содержания научных идей, о которой свидетельствуют историки науки.

В самом общем виде можно сказать, что в поле критики нормативизма попадает властная установка философа науки. В ней единый язык, критерии научности, стандарты доказательства, методологии исследования объясняют предмет (научную деятельность) и предписывают образ должного сфере практики. Эта критика звучит, например, в контексте сильной программы социологии научного знания, когда Д. Блур разоблачает позицию нормативизма как телеологическую [Блур, 2002]. В этих же терминах рассуждают и представители исторической эпистемологии. Скажем, Л. Дастон и П. Галисон, предлагают вниманию читателя «не телеологическую историю объективности», которая не ведома определенным содержательным пониманием данной научной ценности [Daston, Galison, 2007, p. 29]. Установка нормативизма не только не способствует конструктивному диалогу между философами и историками науки, но и практически не оставляет возможностей для взаимодействия между философами и учеными, деятельность которых представляет собой их объект исследования.

В качестве альтернативы возможна установка дескриптивизма или радикального эмпиризма, предполагающая отказ от любого заранее заданного основания интерпретации исследований, от метаязыка, с позиции которого осуществляется оценка развития науки. Эта установка включает внимание к самим научным практикам в их многообразии и вариативности. Однако подход дескриптивизма представляет собой другую крайность в исследованиях науки, поскольку ставит под вопрос автономию дела философа, эпистемолога или другого исследователя науки, дела, которое оказывается неопределенным относительно собственной цели и завершенности. Провозглашение Б. Латуром необходимости «следовать за учеными и инженерами», наблюдая и описывая «науку в действии», не избавляет от вопроса: зачем это делать? Кроме того, часто оказывается, что установка дескриптивизма скрывает имплицитно присутствующую в исследовательском тексте нормативность, которая, однако, остается не проясненной. Так, например, М. Куш, анализируя тексты современных исторических эпистемологов Л. Дастон, П. Галисона и Я. Хакинга, обнаруживает, что данные авторы склонны пренебрегать требованием рефлексивности [Kusch, 2011]. Требование рефлексивности Куш связывает с необходимостью отдавать отчет в происхождении и формальной определенности собственного концептуального аппарата, т. е. норм истолкования, применяемых к науке как предмету. Куш пишет, что, скажем, Л. Дастон и П. Галисон беспристрастно и не телеологически описывают историческую последовательность появления научных добродетелей, но скрывают, что их собственное исследовательское предпочтение очевидно остается на стороне такой ценности как механическая объективность.

Итак, крайности, которые присутствуют в исторических исследованиях науки, можно соотнести либо с избыточной властью объяснения и нормативной рационализации истории науки, связанной с гипостазированием собственной позиции объясняющего и реконструирующего, либо с сокрытием себя в попытке дать историческим научным практикам самим себя показывать. Следует заметить, что указанные крайние уста-

новки не могут быть однозначно привязаны к тому или иному автору. Их описание должно быть понято как описание типов или даже идеологических позиций, которые, однако, влияют на конкретные исследовательские практики в эпистемологии и философии науки. Какими могут быть стратегии преодоления указанных крайностей? Следует согласиться с М. Кушем, что рефлексивность важна как в науке, так и в ее исследованиях. Она может служить средством преодоления крайностей и в нашем случае, поскольку призывает, с одной стороны, обнаруживать границы собственной нормативной установки эпистемолога, а с другой — выявлять предпосылки, скрыто или явно присутствующие в любой дескрипции историка. Рефлексивность есть необходимый жест, заставляющий ученых, его совершающих, действовать в некотором смысле против своей профессии, подвергая сомнению возможность полной власти над собственно предметной сферой, власти объяснения [Латур, 2012, с. 127]. То определение, которое дает рефлексивности Б. Латур, заставляет предположить ее именно как поиск серединного пути: «Я использую слово “рефлексивный”, чтобы обозначить любой текст, который учитывает собственное производство и таким образом устраняет вредное воздействие на читателя, состоящее в том, что тексту верят слишком много или слишком мало» [Латур, 2012, с. 129]. В таком обращении к собственным условиям совершается выход за границы идентичности и обнаруживается возможность для идентичности другого⁸⁵. Однако рефлексивность можно понять по-разному — движение от крайностей не всегда ведет к добродетельной середине, возможность позиции другого не всегда актуализируется. Присмотримся к этому концепту, отметив некоторые его смыслы, присутствующие в философской традиции и теории познания⁸⁶.

Как можно быть рефлексивным?

Самопознание, осуществляемое в рефлексии, обращение текста или нормы к его производству (Латур) или вербализация содержания образца (Розов) может полагать новый предмет исследования, ранее латентно присутствующий и выявляемый рефлексивным жестом. Такая «полагающая рефлексия» обращена к самому различию между объясняемым и объясняющим и, выполняя по отношению к этому различию объективирующую функцию, одновременно оставляет свободным субъект рефлексии и ограничивает власть объясняющего (текста, теории, нормы, образца), производство которого становится предметом [Гадамер, 1991, с. 20]. Однако с таким видом рефлексии связан ряд проблем.

Первую можно обнаружить на основании анализа «полагающей рефлексии» Б. Латуром под именем «метарефлексивности», которая предполагает возможность за-

⁸⁵ Границы в рефлексии могут оказываться внутренними или внешними, как и другая позиция, с ними связанная, однако речь при этом идет о различии позиций и установлении связей между ними. Можно также вспомнить одно из определений, которое дает рефлексии Гегель и которое раскрывает ее существенную цель. «Рефлексия есть прежде всего движение мысли, выходящее за пределы изолированной определенности и приводящее ее в отношение и связь с другими определенностями так, что определенности хотя и полагаются в некоторой связи, сохраняют свою прежнюю изолированную значимость» [Гегель, 1974, с. 206].

⁸⁶ Мы оставим за рамками исследования один возможный конструктивный ход работы с крайностями нормативизма и дескриптивизма. Отечественный эпистемолог М. А. Розов предлагает задействовать в этом случае «надрефлексивную позицию», с которой можно обнаружить и практиковать дополнительную научного и философского подхода, родственную той, которая имеет значение для копенгагенской интерпретации квантовой механики. В случае исследования этики эта дополнительность выглядит следующим образом: «Научный подход исключает точное описание содержания образцов, исключает, следовательно, точную формулировку каких-либо этических нормативов. Философия, наоборот, как раз на это и претендует, отрывая тем самым эти нормативы от реальных традиций, от конкретных условий места и времени» [Розов, 2015, с. 148]. Откладывание указанной возможности обращения к «надрефлексивной позиции» следует считать временным; раскрытие связи позиции над- и под-рефлексивности (инфарефлексивности) ожидает последующего исследования.

нять позицию вне текста исследователя и служит предотвращению наивного доверия тому, что излагается или предписывается в тексте. Эта стратегия разоблачает наивность как нормативности, так и дескриптивизма, поскольку делает видимым разрыв между предметом («тем, что там снаружи»), в данном случае самой наукой, и его исторической репрезентацией, присутствующей в нормативном предписании эпистемолога постпозитивиста или рассказе современного историка науки. Однако сама методологическая процедура «показывания», осуществляемая конкретным субъектом, производит новую репрезентацию, объясняющую связь между объясняющим и объясняемым, порождает угрозу новой наивности и требует умножения рефлексивных слоев. Скажем, если обратиться к тому случаю, который описывает в своей критической статье М. Куш, то анализ многообразия форм научной объективности и исторической модификации научных ценностей должен был бы, по мнению Куша, сопровождаться метарефлексивным описанием собственного предпочтения, той научной ценности, которой авторы руководствовались в тексте. Если же принимать в расчет критическое разоблачение Б. Латура, то следом за исполнением такой метарефлексии авторы должны задать вопрос об истоках собственного предпочтения, начать сравнивать его с иными возможными предпочтениями эпистемологов, а потом поставить вопрос о своей позиции сравнивающих, умножая слои рефлексии. В противном случае методологическая констатация собственного предпочтения останется наивной, только на новом уровне. Проблема такой рефлексии заключается в том, что она допускает окончательный метауровень, объясняющий существо того, что происходит на уровне предыдущем. При этом легитимность такого уровня, вводимого в качестве нормы, остается необоснованной. Или же умножение рефлексивных слоев становится бесконечным.

Вторая проблема такого рода рефлексивности может быть прояснена обращением к критическому описанию «рефлексивных систем», проводимому М. А. Розовым. Отечественный эпистемолог отмечает, что рефлексию как вербализацию образца поведения (применения научной нормативной установки) можно проинтерпретировать в контексте принципа «относительности к средствам наблюдения», действующего в копенгагенской интерпретации квантовой механики. При этом сам рефлексивный жест изменяет то, на что он направлен, и соответственно, искомый эффект «полагания», отделяющий субъект рефлексии от его предмета, не достигается. «Описывая образцы, мы претендуем на фиксацию правил действия, на выявление того, что именно или как делает участник, но оказывается, что для этого нам необходим новый “прибор”, существенно меняющий содержание образцов» [Розов, 2015, с. 144]. Если первую проблему можно связать с дурной бесконечностью рефлексивности или наивностью «метауровня», то вторая проблема добавляет к первой наивности слепоту относительно того, что всякое рефлексивное «полагание» оказывается воздействием, производящим эффект, в том числе на читателя текста. Исследователь при этом, по выражению М. А. Розова, «идентифицирует себя с рефлексией», становясь «элементом той системы, которую он изучает» [там же, с. 145]. Если первая проблема демонстрирует инфляцию нормативных уровней, то вторая выявляет разветвление дескрипции и оставляет актуальными вопросы об ответственности за собственные позиции тех, кто это разветвление производит. В случае того примера, к которому обращает нас М. Куш, реализация рефлексивности при описании механической объективности как собственной ценностной установки привела бы авторов к изменению в истолковании этой научной добродетели, потому что она соединялась бы уже с иной практикой, практикой историков науки, а не практикой ученых, описываемых Л. Дастон и П. Галисоном. Возможно, это был бы любопытный нарратив, однако скорее всего он бы не ответил на претензию, которую предъявляет к авторам текста «Объективности» М. Куш, поскольку дескриптивная позиция, в нем выраженная, не предполагала бы ни установления связи между научными ценностями авторов текста и учеными, практикам которых данный текст посвящен, ни осознания целей такого рода дескрипции.

Третья проблема, на которую выводит нас проблематичность рефлексии в первом и втором случае, связана с феноменологической или герменевтической критикой «полагающей рефлексии», превращающей в предмет то, на что она направлена. В такой рефлексии не достигается цель — демонстрация следствий, существа и оснований действия объясняющего, — поскольку конституирующая объяснение инстанция воспроизводит свое отсутствие или ускользание от рефлексивного схватывания. Полагание действующего Я в качестве предмета рефлексии оставляет полагающее новое Я латентным. «Выясняется, что искомое Я не есть» — так завершает свой феноменологический анализ странствий рефлексии А. Г. Черняков [Черняков, 2001, с. 182]. Будучи ускользающим, Я действующее остается всегда вне «объяснения-обвинения», остается властвующим. При этом оно лишь «кажется» свободным, господином самого себя, поскольку «свобода рефлексии, это мнимое у-себя-бытие, в понимании вообще не имеет места — настолько всякий его акт определен историчностью нашей экзистенции» [Гадамер, 1991, с. 23]. В герменевтическое и феноменологическое истолкование неполноты рефлексивного опыта вводятся историчность и временность. Проясним, в каком смысле это введение оказывается конструктивным. Рефлексивное схватывание имеет своим условием уже существующее различие — власть объяснения или описания осуществляется на расстоянии, как об этом пишет Б. Латур, и именно это действие на расстояние должно стать «предметом» рефлексии. Однако рефлексия воспроизводит действие и, как оказывается, воспроизводит или даже полагает новое расстояние, непосредственно завися от него. Расстояние как условие рефлексивного акта описывается Э. Гуссерлем в «Лекциях по Феноменологии внутреннего сознания времени» как различие во времени [Гуссерль, 1994]. Предметом рефлексии может быть только то, что отделено от точки «теперь», от настоящего и удерживается в ретенции⁸⁷. Такое различие в качестве условия оставляет настоящее неосознанным или заставляет искать специфические модусы осознания, которые при этом нельзя называть рефлексивным «схватывающим актом» [там же, с. 139]⁸⁸. Представляется, что ключевым в этой проблеме неполноты рефлексии или ее не абсолютной свободы, оказывается необратимость. Время нельзя повернуть назад и сделать обращение к прошлому или его удержание условием темпоральной позиции «теперь». Или можно? Для того, чтобы рефлексия отвечала своей задаче, нужно, чтобы она не воспроизводила всякий раз новое временное расстояние в качестве собственного условия, но выявляла бы уже имеющееся различие, длительность между прошлым и современностью, сопровождала бы эту временность или историю «между».

Гадамер называет такую рефлексию сопровождающей, характеризующей акты, «которые в момент осуществления “интенции” обращены на сам процесс осуществления» [Гадамер, 1991, с. 20]. Можно предложить возможный перевод идеи «сопровождающей рефлексии» на то, что описывается в тексте *«Истины и метода»* как «история воздействий», раскрывающаяся в герменевтическом круге понимания. При этом специфическая темпоральность определяется не необратимостью исторического времени

⁸⁷ «Так как я удерживаю ее [истекшую фазу – Л.Ш.] в схватывании, я могу обратить на нее внимание в некотором новом акте, который мы называем рефлексией <...>. Мы обязаны ретенции, таким образом, тем, что сознание может быть сделано объектом» [Гуссерль, 1994, с. 138].

⁸⁸ Вот как Гуссерль описывает возможность выхода за рамки дурной бесконечности полагающей рефлексии: «Если говорят: каждое содержание осознается только через направленный на него акт схватывания, то тотчас возникает вопрос о сознании, в котором осознается этот акт схватывания, который ведь сам есть содержание, и бесконечный регресс неизбежен. Если, однако, каждое «содержание» первично осознается в себе и с необходимостью, то вопрос о дальнейшем формирующем данности сознании будет бессмысленным» [Гуссерль, 1994, с. 139-140]. Это первичное осознание (не над-, но под-рефлексивность) можно проинтерпретировать как уже существующую гетерогенность позиции «теперь», включающей определенную до-темпоральную дифференциацию и, соответственно внутреннюю границу. Более обстоятельное прояснение такого рода феноменологического основания рефлексивности требует отдельного исследования.

и не единственной интенцией автора (или читателя, или интерпретатора), но всегда взаимодействием интенций предания, которое обращается к нам и нашей собственной интенции обращения к преданию с вопросом [Гадамер, 1988, с. 317–363]. В герменевтическом круге понимания совершается круговое, обратимое и обращающееся движение понимания, не умножение исторических расстояний, но наполнение исторического времени «между» взаимодействием субъектов прошлого и современности.

Очевидно, в этом случае происходит избавление от порочной бесконечной рефлексивности или предпосылочной наивности в качестве ее обратной стороны, поскольку происходит изменение в отношении к прагматике текстов — в случае исторической эпистемологии собственного исследовательского и научного, который оказывается «предметом». При этом эпистемологический текст может не только показывать нечто, репрезентировать «то, что снаружи», в данном случае конкретные научные практики или их выражение в научном описании, но и делать нечто кроме этого. Тексты могут не надстраиваться над фактами и друг над другом, но быть рядоположенными, производящими воздействие друг на друга, включающимися в общую историю воздействия, создавая и воссоздавая историю. Можно ли говорить, что в этом случае совершается рефлексия?

Латур описывает такую возможность для социологии научного знания посредством понятия инфрарефлексивности. Если попытаться описать ее темпоральную определенность, то она не надстраивается «над» прошлым, полагая временное различие, но встраивается в само различие, в некотором смысле располагаясь «под» ним, выявляя, делая содержательным время «между», работая над выявлением его полноты. Преимущество такого жеста в том, что эпистемология в этом случае работает с научной деятельностью не как со своим предметом, отличая себя от него. Она не надстраивает над наукой собственное объяснение, оценку, нормативность в качестве дополнительного, «высшего», но не менее наивного «метаязыка», но и не скрывает определенность собственной позиции, описывающей научные практики. Дисциплинарные границы между эпистемологией и наукой осознаются, но они перестают быть жесткими, между ними располагаются гибридные объекты, принадлежащие смежным территориям науки и эпистемологии. Их отношение описывается не как иерархическое, но как равноправное взаимодействие, где эпистемолог и ученый учатся друг у друга, вступают в диалог, выходят за границы собственной идентичности. Признаком инфрарефлексивности, предохраняющей от утверждения отдельной дисциплины с собственным метаязыком, является «соавторство» с объектом познания, объяснения, нормирования. Что раскрывает и чему учит язык исторического эпистемолога? Он обращен не к тому, что есть и тем более не к тому, что должно быть. То, «что было», и то, «что может быть», оказываются в фокусе внимания, но прошлое при этом вступает во взаимодействие с современностью, отвечая на стоящие сегодня вопросы и показывая, что те решения, которые были приняты, ценности и критерии, которые были выбраны, не являются единственными и могут быть иными. «Предметом заботы» и полем работы такой рефлексивности становится взаимодействие временных позиций прошлого и настоящего, осознание открытых возможностей и альтернатив в развитии знания. Есть ли у такой рефлексивности основания, делающие ее возможной?

Трансцендентальные основания рефлексивности

Вспомним, что проблемы конструктивного взаимодействия истории и философии науки как совместного проекта, в котором участники признают равенство интересов друг друга, а также лежащее в основании этих проблем противоречие между нормативизмом и дескриптивизмом объясняются и отчасти конституируются известной формулой Имре Лакатоса о том, что «философия науки без истории науки пуста, а история науки без философии науки слепа». Эта формула обосновывает возможность рациональной реконструкции истории науки нормативной методологией философии науки

[Лакатос, 2003, с. 257]. Утверждение Лакатоса воспроизводит кантовскую интерпретацию отношения между двумя познавательными способностями — пассивной чувственностью и спонтанностью рассудка, а также указывает на их необходимую связь: «без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один не был бы мыслим. Мысли без содержания пусты, а наглядные представления без понятий слепы. Поэтому в одинаковой мере необходимо понятия делать чувственными (т. е. присоединять к ним предмет в наглядном представлении), а наглядные представления делать понятными (т. е. подводить их под понятия)» [Кант, 1993, с. 70]. Трансцендентальный синтез воображения делает возможной желаемую связь между чувственностью и рассудком, вступая в игру, когда возникает вопрос о познании объекта, а не только о его мышлении. Благодаря способности воображения, «категории, будучи чистыми формами мысли, приобретают тем не менее объективную реальность, т. е. применение к предметам, которые могут быть даны нам в наглядном представлении» [Кант, 1993, с. 115]. Именно в этом контексте Кант определяет воображение как «способность наглядно представлять предмет также и без его присутствия» [там же]. Кант объясняет возможность воображения выступать в качестве посредника между чувственностью, представляющей объект в наглядном созерцании, и спонтанностью рассудка, осуществляющей синтез созерцаний. Несмотря на то, что Кант подчеркивает равную необходимость обеих способностей для процесса познания, а также то, что «только из их соединения может возникнуть знание» [Кант, 1993, с. 70], пассивность или восприимчивость чувственности в противоположность свободной спонтанности рассудка в «Критике чистого разума» имеет более низкий статус, а деятельность воображения оказывается подчиненной правилам и функциям рассудка.

Таким образом, утверждение Канта-Лакатоса, относящееся к работе воображения, узаконивает определенный способ взаимодействия двух дисциплин, изучающих науку, и одновременно объясняет его несостоятельность. Историки обеспечивают содержание спонтанности рассудка, тогда как активный концептуальный синтез, применяемый к историческому материалу, целиком принадлежит деятельности философа, который исходит при этом из определенного понимания условий развития науки, из знания различий двух его контекстов — открытия и обоснования, из установленного содержания понятий истины и лжи, а также базовых ценностей как критериев науки и т. д. Рациональная реконструкция занимается применением этих «априорных» установок к процессам развития научного знания, являясь проводником философского отбора и орудием испытания реальных научных практик. Философия науки здесь «управляет», обеспечивая «согласие» истории и философии науки подобно тому, как в области познавательного интереса у Канта в «Критике чистого разума» рассудок обеспечивает согласие познавательных способностей, подчиняя себе способность воображения [Делез, 2000, с. 31]. Нормирующее законодательство рассудка обусловлено тем, что его понятия обеспечивают притязание на всеобщность, т. е. на объективную значимость знания, а также посредством способности воображения подчинение материала чувственности познавательным способностям субъекта, т. е. объективную реальность знания. Возможна ли иная ситуация, когда дисциплины, исследующие науку, взаимодействовали бы на равных? Можно ли предположить в качестве трансцендентального условия такого взаимодействия иную пропорцию познавательных способностей?

Искомая пропорция также оказывается связана с той ролью, которую может играть воображение. Роль воображения, по Канту, не ограничивается схематизмом, описанным в «Критике чистого разума». В «Критике способности суждения» он утверждает, что воображение может схематизировать без всякого рассудочного понятия, и таким образом говорит о его свободе [Кант, 1994, с. 159]. Такая интерпретация воображения, где оно входит в «свободную игру» с рассудком, определяет еще одну возможность взаимодействия познавательных способностей, где нет предваряющих и ограничивающих это взаимодействие понятий [Кант, 1994, с. 85]. Если продолжать следовать анало-

гии Лакатоса, то вторая роль воображения обращает наше внимание на возможность свободного и равноправного взаимодействия истории и философии науки, не требующего обращения к нормативному методологическому метаязыку философии, заранее определяющему смысл основных научных понятий, объясняющему логику развития научного знания.

Способность воображения в своем свободном отношении к рассудку и в согласии с ним может определять условия познания, оказываясь условием осуществления рефлексивного суждения. Коль скоро познавательная деятельность науки претендует на всеобщность (объективность), условием ее достижения является «всеобщая сообщаемость» знания или «*sensus communis*» как результат согласованной работы различных познавательных способностей. Такое согласие возможно только в том случае, если одна из способностей, например, рассудок, законодательствуя, его обеспечивает. В этом случае, который Кант описывает в «Критике чистого разума», априорные правила рассудка в их всеобщности и необходимости гарантируют «согласие способностей <...> под заданными понятиями рассудка» [Делез, 2000, с. 31]. Однако проблема состоит в том, что подчинение других способностей рассудку (или разуму, в случае «Критики практического разума») возможно, только если оно основано на изначальном согласии способностей, за которое отвечает именно свобода воображения⁸⁹. Почему это так, и как с этим связана рефлексия?

Уточняя структуру «обычного человеческого рассудка» в «Критике способности суждения», Кант описывает три различные функции познавательных способностей и их максимы [Кант, 1994, с. 167–168]. Мыслить самостоятельно или максима свободного от суеверий рассудка предполагает ответственность за собственное знание; широкое мышление как максима способности суждения предполагает способность мыслить, становясь на точку зрения другого, или рефлексия о собственном суждении; последовательное мышление как максима разума предполагает установление согласия с самим собой или согласование первого и второго. Легко понять, почему рефлексивное суждение не может оказаться законодательствующим или властвующим. Дело в том, что оно должно быть лишено основания для законодательства, поскольку желаемая «общая точка зрения», которая могла бы стать основой его власти, никогда не дается заранее, но может лишь возникнуть на практике, в опыте «перенесения себя на точку зрения других» [там же], в том числе и еще неизвестных. Иными словами, априорного основания максимы широкого мышления или суждения, которое можно было бы приписать другим, не существует, потому что иначе другие не были бы другими. Притязание на универсальность рефлексивного суждения реализуется тем, что «свое суждение сопоставляют с суждениями других не столько действительными, сколько возможными и ставят себя на место другого, абстрагируясь от ограничений, которые случайно могут быть связаны с нашими собственными суждениями» [Кант, 1994, с. 166]. В основе процедуры рефлексии здесь лежит именно работа продуктивного воображения, которое является «способностью представлять объект даже без его присутствия» в наглядном созерцании [Кант, 1993, с. 115], то есть возможность работать над образом объекта с учетом даже тех точек его восприятия, которые еще не реализованы и только возможны. Именно эта работа объясняет, как возможно заполнение пробелов в восприятии при создании образа объекта в научном познании [Downie, 2001].

Свобода воображения, которое действует, не властвуя, коль скоро не имеет оснований для власти, соотносится не с понятием рассудка, которое при некоторых обстоятельствах может отсутствовать или может оказаться поставленным под сомнение,

⁸⁹ «Верно, что в «Критике способности суждения» воображение не берет на себя законодательную функцию. Но оно получает свободу так, что все способности вместе вступают в свободное согласие. Значит, первые две «Критики» устанавливают между способностями связь, задаваемую лишь одной из них; последняя «Критика» открывает более глубокое — свободное и неопределенное — согласие способностей как условие возможности каждой конкретной связи» [Делез, 2000, с. 81].

а с самим рассудком, то есть с его способностью давать понятия или искать единство. Таким образом, свободная игра познавательных способностей, организуемая воображением, учитывает требование общей основы знания (его универсальной коммуникабельности) и необходимость работы над ней, но эта основа остается априори неопределенной [Кант, 1994, с. 126, 159]. Неопределенность можно отнести также и к познаваемому объекту. Кант легитимирует работу рефлектирующей способности суждения тем, что «существует такое многообразие форм природы, столько модификаций общих трансцендентальных понятий, остающихся не определенными теми законами, которые априорно дает чистый рассудок» [Кант, 1994, с. 50]. Поэтому, зная работу воображения, организующую свободное согласие способностей, мы можем ожидать от него освобождения объекта от власти субъекта. Продолжая следовать аналогии Лакатоса, можно сказать, что воображение в своей второй роли не только обеспечивает условие свободного и равноправного взаимодействия истории и философии в исследовании феномена науки, но и, освобождаясь от всякого нормативного понятия, предоставляет собственный «голос» познаваемому объекту — науке, а также предоставляет возможность для диалога эпистемологии и науки.

Продemonстрируем в завершении два случая рефлексивной работы исторической эпистемологии, условием которой может служить способность воображения.

Практики рефлексивности современной исторической эпистемологии

Первый случай касается исследования концепта «эпистемическая добродетель», такого нормативного идеала научной деятельности, который в традиционной трактовке ассоциируется с объективностью. Д. Дастон и П. Галисон в своей работе «Объективность» [Daston & Galison, 2007] ставят под сомнение это понятие, показывая, что отождествление науки и объективности, а также использование объективности как основной характеристики науки неверно ни исторически, ни концептуально. Они утверждают, что объективность не является единственной и вечной эпистемической добродетелью, поскольку она возникла в определенное время (не ранее первой половины XIX века) и ее возникновение обусловлено определенным контекстом. Текст «Объективность» включает два уровня концептуальной сборки — понятия эпистемической добродетели, которая кроме объективности включает «истину-по-природе» и «тренированное суждение», а также самой объективности, различным образом ориентирующей научные практики.

В основе используемого авторами подхода лежит отказ от нормативной реконструкции истории науки, в данном случае от догматизма определенного смысла понятий объективности и эпистемической добродетели, что приводит к смещению акцента с готового понятия на конкретные практики (в случае объективности — на практики составления научных Атласов). В результате анализа практик возникает новая сборка концепта. «Если действия заменяют понятия, а практики — значения, то фокус на туманном понятии объективности становится более четким» [Daston & Galison, 2007, p. 52]. То есть во времени исторического взаимодействия научных практик и эпистемологического анализа осуществляется конструирование понятия, но не применение его в готовом виде к научному опыту. Такая конструкция, «нетелеологическая история научной объективности», может иметь лишь общим образом определенную цель — показать, как под одним словом сходятся различные виды практик [ibid., p. 29]. Результатом этого процесса становится содержательное определение объективности как преодоления субъективности. Обращает на себя внимание тот факт, что в этом понятии, определяемом лишь формально, есть место и для других, еще не рассмотренных значений объективности, и каждое из них определяется тем, какой вид субъективности препятствует научному познанию в каждом конкретном случае. Иными словами, методологический подход исторической эпистемологии, реализованный в этом тексте, соответ-

ствуется критике нормативных представлений и открывает возможности для работы свободного воображения, то есть схематизации без готового концепта.

Пересборка понятия объективности в данном тексте может рассматриваться не только в контексте критики нормативной реконструкции истории науки, но и как пример рефлексивности: здесь сочетаются, переступая границы собственной определенности, историческая дескрипция и решение философских проблем, идет работа над ответом на вопрос об основных ориентирах научной деятельности. «История сама по себе, — утверждают Л. Дастон и П. Галисон, — не может сделать выбор... <...> Но она может показать, что выбор существует и что от него зависит» [ibid., p. 42]. Обратим внимание на существенное различие между подходом исторической эпистемологии и рациональной реконструкцией истории науки. При втором подходе история подчиняется нормативной методологии философии науки, что означает возможность объяснить выбор, сделанный между конкурирующими теориями, дать оценку уже осуществленных решений [Лакатос, 2003, с. 257]. При первом подходе история показывает контингентность каждого конкретного научного решения, его контекстуальную укорененность и возможные альтернативы. Кроме того, здесь историческое исследование, будучи столь же активным в дисциплинарном синтезе, мотивирует философствование, показывая альтернативы, «превращая очевидную аксиому о том, что вещи никогда не могли бы быть иными, чем мы их знаем, — в предмет аргументированных обсуждений» [Daston & Galison, 2007, p. 376]. Следуя за историками и учеными прошлого, мы начинаем понимать не только то, почему ученые выдвигают объективность на первый план как ценность и добродетель и какие проблемы влечет за собой этот выбор, но и то, какие альтернативы, не противоречащие стандартам науки, он допускает.

Следует отметить особое внимание, которое Л. Дастон и П. Галисон уделяют науке и ее «голосу», звучащему не в эпистемологических метарефлексиях ученых или в теоретических положениях, скрывая приверженность ученых определенным темам (Дж. Холтон). Этот «голос» проявляется не в научных понятиях, а в образах — схемах, рисунках, фотографиях, сделанных порой с помощью сложных приборов. Трансформации этих образов демонстрируют работу научного воображения, остающегося скрытым от нормативной методологии философа науки.

Второй случай перевода самоочевидных аксиом в объекты аргументированного обсуждения представлен Х.-Й. Райнбергером в его работе «История эпистемических вещей», где он фокусируется на понятии научного объекта [Rheinberger, 1997]. Традиционная эпистемология предполагает инвариантность как существенную особенность научных объектов и нормативное основание реконструкции их истории. Именно эта особенность определяет воспроизводимость эксперимента и характеризует объективность объекта [Nozick, 1998], пока анализ ограничивается «контекстом обоснования», а «контекст открытия» оказывается несущественным. Райнбергер описывает историю или даже биографию таких научных объектов, как цитоплазматические частицы, сыгравших важную роль в появлении между 1935 и 1965 годами того, что в молекулярной биологии сейчас известно под именем РНК — рибонуклеиновой кислоты. Райнбергер не только переносит акцент на «контекст открытия» или на «возникновение научного объекта»; он предлагает проблематизировать инвариантность как сущностное качество научных объектов и отказаться от нормативной концептуальной дихотомии открытия и обоснования, обратив внимание на научную практику как таковую, всегда включающую два вида объектов.

Первый вид — «эпистемическая вещь». Райнбергер использует этот термин для обозначения научного объекта, находящегося в событии «возникновения», в процессе формирования устойчивой научной предметности, получающей в конечном итоге однозначное именование и строго определенные характеристики. Цитоплазматические частицы как эпистемические вещи попадают в центр внимания различных наук (онкологии, биохимии, молекулярной биологии, цитоморфологии и др.). Они изучаются

с помощью различных технических средств (дифференциальное центрифугирование с модификацией его условий, «мечение аминокислот», электронная микроскопия и др.), имеют различные локализации и даже разные названия (митохондрии, микросомы, рибосомы и т. д.). Только одно качество этих частиц ученые считали изначально неоспоримым — их участие в синтезе белка. Эпистемические вещи как объекты исследования представляются принципиально неопределенными и расплывчатыми, и «эта расплывчатость неизбежна, потому что, как это ни парадоксально, эпистемические вещи воплощают то, что человек еще не знает» [Rheinberger, 1997, p. 28]. В случае эпистемических вещей нет априорно установленной связи между понятием и референтом. Более того, никакого концепта, соответствующего им, вообще не существует. Все, что можно сделать эпистемологу, — обратиться к ряду конститутивных практик, всякий раз по-новому переопределяющих объект исследования, следовать за учеными, которые постепенно создают новое понятие с помощью способности воображения.

Второй вид объектов — «техническая вещь». Это устойчивые объекты, обеспечивающие практику исследования, условия эксперимента: модели, готовые схемы, инструкции, оборудование, все те вещи, посредством которых объект исследования становится артикулированным, видимым в том или ином смысле [Rheinberger, 1997, p. 29]. Разница между техническими и эпистемическими вещами ситуативная. Судьба вторых — стать стабилизированным объектом, приобрести устойчивое наименование, определенный референт и в конечном счете стать технической вещью, используемой для последующей научной практики. Иными словами, два вида научных объектов не находятся на отдельных стадиях научного исследования, не образуют иерархии, но дополняют друг друга, и их различие носит чисто функциональный характер. Они и их смеси (гибриды) образуют лабораторную среду, включающую «“материалы и методы” (технические вещи), “результаты” (промежуточные гибриды) и “дискуссии” (эпистемические вещи)» [ibid., p. 30]. Подобно Л. Дастон и П. Галисону, Х.-Й. Райнбергер использует несколько уровней концептуальной сборки. Во-первых, он (пере)собирает понятие научного объекта, во-вторых, он показывает, как происходит (пере)сборка конкретного научного объекта в конкретной научной практике. На обоих уровнях возникает ненормативистская стратегия, движение «снизу вверх», от практик к концептуализации. Эти уровни дополняют друг друга и взаимодействуют, демонстрируя рефлексивный выход эпистемолога за его дисциплинарные границы и организацию взаимодействия языков ученого, историка и философа науки. Историческое исследование Райнбергера, как и работа Дастон и Галисона, участвует в философской трансформации образа науки. История перестает быть только делом историка, но благодаря открытию историчности научных объектов становится существенной частью самой науки. То, что историк называл «перестройкой» объекта научной деятельности, теперь оказывается частью «временной структуры самой системы исследований» в лаборатории [ibid., p. 178].

Так оказывается не только возможной, но и актуально реализуемой рефлексивность исторической эпистемологии, преодолевающая крайности нормативизма и дескриптивизма. Преодоление становится возможным, с одной стороны, поскольку априорная нормативность концепта, служащего основанием реконструкции истории науки, ставится под вопрос и, с другой стороны, историческая дескрипция оказывается путем новой сборки концепта. При этом функции историка и философа науки оказываются связанными событием освоения времени между научным и философским прошлым и современностью.

Глава 7. Империя наблюдения, земной глобус и ботанический сад*

Дух наблюдения — это универсальный дух искусств и наук.

*Шарль Бонне, письмо 1757 года Альбрехту Галлеру*⁹⁰

... «познание» вовсе не является незаинтересованной когнитивной деятельностью; в наших обществах строгие факты о других культурах производятся точно так же, как производятся факты о баллистике, таксономии или хирургии. Одно место собирает все остальные места и синоптически представляет их инакомыслящим, чтобы изменить исход борьбы.

*Бруно Латур. «Визуализация и познание»*⁹¹

В данной главе представлен определенный историко-эпистемологический интерпретативный эксперимент, в рамках которого сопоставляются два изображения и идея, высказанная американским историком науки Лоррейн Дастон: в XVII–XVIII вв. научное наблюдение стало предметом теоретического осмысления, а его широкое распространение, а также радикальная интенсификация и усложнение привели к появлению так называемой «империи наблюдения». Два изображения, о которых идет речь — это «Послы» Ганса Гольбейна Младшего (1533) и фронтиспис флоры Карла Линнея *Hortus Cliffortianus* (1748), выполненный голландским художником и гравером Яном Ванделааром. Главный вопрос этой главы может быть сформулирован следующим образом: что эти два изображения могут сказать об империи наблюдения как исторической политико-эпистемологической сборке (практик, процедур, институтов, техник репрезентации, способов описания, самостей), исходя из допущения, что она представляла и легитимировала себя не только в различных дискурсах, но и в визуальных репрезентациях? Особое внимание уделено земному глобусу как модельному объекту и картографическому представлению и ботаническому саду как пространству наблюдения и изолирующей видимости, представляющему классификационный порядок природы.

Ключевые слова: ботанический сад, наблюдение, визуальная репрезентация, Ганс Гольбейн Младший, глобус, империя наблюдения, карта, картографическое представление, пространство наблюдения, политико-эпистемологический режим, Ян Ванделаар.

© С. М. Гавриленко

* Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант №18-011-00281 А «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы».

Материал этой главы, ее основные положения и фрагменты ранее были опубликованы в следующих публикациях: [Гавриленко, 2018], [Гавриленко, 2020a], [Гавриленко, 2020b].

⁹⁰ Цит. по: [Daston, 2010, p. 81].

⁹¹ [Латур, 2017, с. 121].

В предлагаемом в данной главе небольшом историко-эпистемологическом этюде, не определяя его возможную дисциплинарную принадлежность, что при определенных обстоятельствах может служить своеобразным алиби и даже дополнительным оправданием, нам хотелось бы провести определенный интерпретативный эксперимент, всю рискованность, а возможно и произвольность которого мы хорошо осознаем, — соотнести два изображения и идею, высказанную американским историком науки Лоррейн Дастон: «В течение XVII–XVIII веков научное наблюдение подверглось теоретическому осмыслению. Оно практиковалось, распространялось и прославлялось с подобным миссионерству энтузиазмом по мере того, как его приверженцы создавали подлинную империю наблюдения» [Daston, 2011, p. 83]. «Империя наблюдения», XVII–XVIII столетия, Классический век французской историографии — время великих научных прорывов, но и время не менее великих политических и экономических преобразований. Гибридный термин «империя наблюдения» (один из тех, при помощи которых современная история науки пытается организовать и выразить новые синтезы в условиях, когда «прежний арсенал явно не срабатывает» [Кузнецова, 2020, с. 100]) — термин, сопрягающий политическую категорию и категорию эпистемологическую, — допускает по меньшей мере двойное прочтение.

Во-первых, империя наблюдения — это констатация, с одной стороны, экстенсивного (в том числе пространственного) расширения практик наблюдения, практик, переводящих невидимое в видимое, ускользающее в постоянное, абстрактное в конкретное (умножение мест наблюдения⁹², его возможных и актуальных объектов, индивидуальных и коллективных агентов, которые проводят его и/или заинтересованы в его результатах), с другой стороны, их радикальной интенсификации и усложнения — появления новых техник и инструментов наблюдения (телескопа⁹³, микроскопа, барометра, термометра, записных книжек, журналов наблюдения, таблиц данных и прочего) и новых текстуальных и визуальных форматов репрезентации (ботанической и анатомической иллюстрации, синоптических карт, отчетов о наблюдении, опросников и т. д.), синтезирующих рассеянные данные наблюдений в языке, понятиях и образах, координирующих распределённых в пространстве и времени наблюдателей, поддерживающих многочисленные формы коллективного эмпиризма, обеспечивая его рабочими исследовательскими объектами. XVII–XVIII века — это период лавинообразного накопления данных наблюдения самых разных типов: ботанических, зоологических, анатомических, астрономических, минералогических, географических, этнографических, метеорологических (известно, например, что Джон Локк вел дневник наблюдения за погодой) — накопления, подхлестываемого радикальной реорганизацией самого поля практик наблюдения⁹⁴ и европейской торгово-колониальной экспансией. *Во-вторых*, «им-

⁹² В XVII–XVIII вв. одним из таких мест часто выступали аристократические поместья. См., например, статью Мэри Тэррол «Лягушки на каминной полке: практика наблюдения в повседневной жизни», посвященную наблюдению французского натуралиста Рене Антуана Фершо де Реомюра (1683–1757) за размножением лягушек [Terrall, 2011].

⁹³ В своей замечательной книге «Небесный порядок» Константин Иванов показал целую серию сложных трансформаций, которые претерпели практики наблюдения в астрономии в связи с введением в них телескопа. В определенном смысле телескоп радикально изменил онтологию и эпистемологию астрономического наблюдения: «...при наблюдении в телескоп планеты, ранее казавшиеся точками, приобрели протяженную форму, поверхность Луны обнаруживала массу новых деталей, незаметных невооруженным глазом, и т. д. То есть телескоп сделал значимым изучение в астрономии протяженных поверхностей, обладающих тонкой индивидуальной структурой... Применение в астрономии оптических приборов внесло в эту науку оптическую неопределенность как особый тип сообщения, в котором индивидуальный опыт различения изображения становился существенным для получения нового знания. Этот опыт нуждался в новом типе сертификации — разработке процедур, после проведения которых можно было с уверенностью признать за ним статус достоверного... Галилей в буквальном смысле увидел другое небо» [Иванов, 2003, с. 37, 38, 41].

⁹⁴ Что означала эта реорганизация, дает понять (как бы от противного) статья «Наблюдение на периферии, 500–1500» Катарини Парк [Park, 2011]. Парк описывает длительный период полусумрачного

перия наблюдения» — это утверждение о том, что практики наблюдения оказываются встроены в политико-экономические режимы и, находясь с ними в сложных отношениях взаимной координации и взаимного подкрепления, становятся их конститутивным элементом. (Дастон говорит, например, о существовании «амбициозных программ наблюдения имперских властей и трансконтинентальных торговых компаний» [Daston, 2011, p. 88].) Именно с точки зрения этих двух значений (строго говоря, различающихся лишь своими акцентами) мы постараемся проанализировать два изображения как определенным образом репрезентирующих империю наблюдения, исходя из допущения, что представление, закрепление и легитимация эпистемологических режимов, которые одновременно оказываются и режимами политическими, происходят не только в различных текстовых формах, то есть в оформляющих и позиционирующих их дискурсах, но и в *визуальных репрезентациях*⁹⁵.

Речь идет о «Послах» Ганса Гольбейна Младшего (1533) и фронтисписе к *Hortus Cliffortianus* Карла Линнея («Сад Клиффорда», 1738), выполненным известным голландским художником и гравером Яном Ванделааром. Эти изображения по ту сторону возможного нормативного порядка и своего символического или аллегорического строя утверждают что-то о фактических модальностях знания (именно они интересуют нас здесь в первую очередь) и представляют ту историческую политико-эпистемологическую сборку (практик, процедур, институтов, техник репрезентации, способов описания, самостей и стилей жизни), которую Дастон назвала «империей наблюдения». И если на картине Гольбейна империя наблюдения делает свои первые шаги (мы несколько сдвигаем заданные Дастон хронологические рамки⁹⁶) еще достаточно сдержанно, но уже почти не таясь, заявляет о своих притязаниях, то через двести

и маргинального положения практик наблюдения в условиях господства в формальном образовании (школы религиозных орденов, средневековые университеты) и в области «ученых занятий» других эпистемологических процедур — чтения, комментария и текстуального авторитета (Гален в медицине, Птолемей в астрономии, Аристотель в натуральной философии). Не вписываясь в «аристотелевскую эпистему», наблюдение существовало в форме верникулярных, «неученых» практик земледельцев, моряков, купцов, паломников или располагалось в тех «эпистемологических» зонах («неаристотелевские науки», как их называет Парк [Park, 2011, p. 18] — астрономическое хронометрирование, позиционная астрономия, судебная астрология), где происходило столкновение с явлениями, которые не могли быть дедуцированы из «первых принципов»: либо в силу их сложности (например, движение небесных тел), либо по причине их случайного характера (погода, ход болезни конкретного пациента), либо из-за «умопомрачительной» множественности (радикальные различия в поведении разных видов животных, растений и минералов). Эти практики оставались по преимуществу рассеянными, нескординированными друг с другом, не оставляли регулярных дискурсивных следов вплоть до XV века, когда ряд астрономов положили начало астрономическому наблюдению как непрерывному и систематическому режиму (здесь важны Георг Пурбах (1423–1461) и его ученик Региомонтан (1436–1476)). С этим режимом Парк связывает и возникновение особого габитуса наблюдателя — «последовательного, дисциплинированного, чрезвычайно чуткого к ошибкам и постоянно стремящегося улучшить свои результаты» [Park, 2011, p. 34].

⁹⁵ Мы вступаем на относительно неисследованную территорию. Тем не менее, см. например, блестящий анализ Даниэлы Блейчмар работ художника Сальвадора Ризо — портретов двух испанских натуралистов XVIII века, Хосе Селестино Мутиса (1732–1808) и Антонио Хосе Сальвадора Ризо Каванильеса (1745–1804), на которых одновременно стирается коллективный характер наблюдения и демонстрируются различные его модальности, характерные для естественной истории эпохи Просвещения [Bleichmar, 2011, p. 373–376, 386–389], а также во многом пионерскую для отечественной исследовательской традиции статью Александра Писарева «К истории музеев науки: визуализацией чего являются экспонаты? (Случай африканского зала американского музея естественной истории)» [Писарев, 2018].

⁹⁶ У этого временного смещения есть дополнительное фактическое основание. Уже в XVI веке наблюдение оформляется (сначала в астрономии и медицине, затем захватывая все новые дисциплинарные режимы: филологию, юриспруденцию, естественную историю) как выделенный эпистемический жанр, основанный на личном, а не на авторитетном текстуальном свидетельстве (*autopsia*), то есть как стандартизированный текстовый формат, регулируемый признаваемыми конвенциями, касающимися стиля и содержания, которое гарантируется теперь в том числе «личной подписью» (о наблюдении как эпистемическом жанре см. [Pomata, 2011]).

лет на ванделааровском фронтисписе «Сада Клиффорда» она уже открыто празднует свои первые триумфы.

* * *

«Послы» Ганса Гольбейна Младшего — одна из самых известных и при этом загадочных картин европейского Северного Возрождения, картина, стимулировавшая многочисленные исследовательские усилия и породившая не менее многочисленные истолкования, стремившиеся обнаружить за обманчивым реализмом изображения множество «потаенных схем» [Норт, 2020, с. 417]. В галерее написанных Гольбейном портретов (преимущественно поясных, ср., например, портреты Эразма Роттердамского, Томаса Мора, Генриха VIII, Анны Болейн, Джейн Сеймур, Томаса Кромвеля или Шарля де Солье) «Послы» действительно занимают особое место. На ней в полный рост изображены два молодых человека, непринужденно опирающихся на стол, на двух ярусах которого располагается множество тщательно выписанных предметов⁹⁷. Нам известны имена изображенных на картине людей, их социальное положение и даже возраст. Картина была написана для двадцатидевятилетнего французского посла при дворе английского короля Генриха VIII Жана де Дентевиля. На ней он изображен (слева) со своим другом, епископом Лавора Жоржем де Сельвом (ему на момент написания картины двадцать пять лет⁹⁸), также выполнявшим посольские поручения французской короны, в том числе при папском дворе и в Венецианской Республике. Одной из главных особенностей этого полотна Гольбейна является искаженное изображение черепа на его переднем плане, вносящее динамический оптический и смысловой диссонанс в целом статичный визуальный порядок картины. Нас интересуют в нем не столько зашифрованные в ней тайные и не очень значения, утверждающие и поддерживающие ренессансный символизм или отсылающие к актуальным политическим реалиям эпохи (порванная струна лютни как знак раскола христианского мира), и не множество астрономических и даже астрологических намеков, рассеянных по ее визуальному пространству (тень гномона, указывающая на дату Страстной Пятницы 1533 года), сколько более приземлённый, но от этого не менее озадачивающий аспект данного изображения — соседство или, вернее, объединение в рамках одной живописной сцены наделенных определенным статусом и функцией людей (послов) с весьма специфическими вещами. Что это за вещи и каково их назначение? В своем фундаментальном «Космосе» Джон Норт перечисляет все представленные на картине предметы по порядку слева направо:

В ее центре изображен двухъярусный стол, на котором размещены разнообразные астрономические, географические, арифметические и музыкальные предметы. На верхнем ярусе мы видим небесный глобус, цилиндрические солнечные часы, солнечный инструмент редкого типа, скорее всего, изобретенный Кратцером, и наполовину скрытый за ним деревянный квадрант. Там же имеются полиэдрические солнечные часы (с различными шкалами на разных гранях),

⁹⁷ Картина Гольбейна почти нарочито демонстрирует не только характерное для северных художников мастерство в передаче тонких текстур и в работе с тенями, но и способность выстраивать «правильное» перспективное изображение самых сложных для этого предметов, например лютни. Не случайно именно этот музыкальный инструмент выступал одним из главных модельных примеров в учении о перспективе Альбрехта Дюрера.

⁹⁸ Выложенная на Google Art & Culture цифровая (в высоком разрешении) репродукция «Послов» (<https://artsandculture.google.com/asset/the-ambassadors/bQEWbLB26MG1LA?hl=ru> — дата обращения: 20.10.2020) позволяет рассмотреть гольбейновскую картину в мельчайших деталях вплоть до надписей на поверхностях небесного и земного глобусов, нюансов орнамента ковровой накидки, нот Псалтыри, отделки меха на одежде послов, медальона (на котором изображен Святой Георгий, побеждающий змея), свисающего с золотой цепи, украшающей Жана де Дентевиля, или полускрытого за драпировкой распятия в верхнем левом углу картины. Возраст де Дентевиля является частью инкрустации ножен кинжала, который он держит в правой руке (число 29), возраст де Сельва указан на корешке книги под его рукой.

полиэдрические часы, «Арифметика» Петера Апиана¹⁰¹ всего лишь предметами, обеспечивающими ученый досуг образованных классов эпохи позднего Ренессанса (казалось бы, присутствие музыкальных инструментов указывает именно на это)? Однако нам представляется, что нет. Послы — представители своего суверена, но что значит представлять суверена? Картина Гольбейна предлагает весьма специфический и, возможно, революционный для своего времени ответ. Представлять суверена — это не только (а применительно ко времени написания картины, вероятно, уже не столько) участвовать в сложных ритуалах монархической власти, символически обозначая присутствие суверена в ситуациях его фактического отсутствия, это не только поддерживать трудную, требующую отточенного мастерства, но при этом находящуюся под постоянной угрозой распада игру взаимного признания суверенов или служить необходимым посредником в их матримониальных обменах. Представлять суверена — это прежде всего быть наблюдателем социальных и природных миров, то есть участвовать в том эпистемологическом накоплении, которое будет обеспечивать режимы господства территориями и объектами их приложения и интенсификации, обеспечивая тем самым их перформативную эффективность. Если наша точка зрения верна (а она, безусловно, требует структурно сложного эмпирического обоснования¹⁰²), то «Послы» Гольбейна документируют тот момент истории Европы, когда виденье (уже не визионерское или духовное, а эмпирическое и практическое, то есть как наблюдение), его техники и способы его репрезентационного закрепления начинают плотно вписываться не только в крупномасштабные политические стратегии, но и рутинные процедуры государственного управления. В картине Гольбейна поражает определенная будничность изображенной на ней сцены, во многом создаваемая строгими, но при этом лишенными всякого напряжения позами послов, находящихся в привычной обстановке и среди хорошо знакомых им вещей, и выдвинутый на передний план череп только усиливает это ощущение своей странной неуместностью (находясь на одной картине с послами и их вещами, череп не принадлежит общему с ними визуальному порядку) среди этого обычного порядка вещей. Вполне возможно (и обоснованно) искать в «Послах» серии потаенных смыслов и устанавливать между ними неочевидные соответствия, но при этом картина вычерчивает план рутинных, не всегда достигающих порога дискурсивности механизмов власти, план, в котором кинжал де Дентевилля уже

(эклиптической, экваториальной и горизонтальной) и осуществлять переход между ними.

¹⁰¹ Изображенная на картине Гольбейна полуоткрытая «Арифметика» Петера Апиана (1495–1552), выдающегося математика и космографа XVI века, позволяет разглядеть используемый в ней табличный способ представления чисел. Таблица — давнишний (еще с античности) формат представления данных наблюдения в астрономии. Но еще в первой половине XVIII века натуралист Шарль Бонне (1720–1793) учится использованию таблиц у математика Габриэля Крамера (1704–1752). (На это в своей «Объективности» указывают Дастон и Галисон, приводя таблицу наблюдения Бонне за тлёт [Дастон, Галисон, 2018, с. 348].)

¹⁰² Тем не менее ср. с замечанием Дастон: «Начиная с середины XVI века (а в случае венецианских послов гораздо раньше), государства и торговые предприятия тренировали своих представителей за рубежом наблюдать и писать отчеты в соответствии со стандартизированными схемами: вопросники, синоптические таблицы и прочее. Сетки наблюдения варьировались от кратких инструкций в неопубликованных опросных листах сэра Уильяма Петти («Получить лучшую карту страны», «Стоимость фруктов летом и зимой») до огромного количества вопросов, как в случае опубликованного швейцарским дипломатом и гуманистом Генрихом Ранцау списка из двухсот вопросов, охватывающих все: от времени захода солнца до музыкальных инструментов и жалования местного духовенства» [Daston, 2011, р. 83]. Отсюда видно, например, что проект «Новой Атлантиды» Френсиса Бэкона является утопическим лишь отчасти и в ряде своих элементов вполне соответствует историческим реалиям. Ср.: «Запретив своим подданным плавание во все края, не подвластные его короне, государь, однако ж, постановил, чтобы каждые двенадцать лет из королевства нашего отплывало в разных направлениях два корабля; чтобы на каждом из них отправлялось по три члена Соломонова дома для ознакомления с делами тех стран, куда они направляются, в особенности с науками, искусствами, производствами и изобретениями всего мира, и для доставки нам всевозможных книг, инструментов и образцов...» [Бэкон, 1978, с. 500].

кажется определенным рудиментом, ибо физическое насилие перестает быть последней опорой и последней истиной порядка власти. Картина Гольбейна среди множества смысловых и визуальных напластований демонстрирует перенос инструментов наблюдения и техник визуальной репрезентации в пространство повседневных механизмов господства, одной из главных ставок и функций которого становится производство видимостей (но не в смысле иллюзий, а в смысле того, что видимо) — первые этапы сложной исторической генеалогии конституирования политических аппаратов как аппаратов оптических, «машин зрения» (Поль Вирильо). Частью этих аппаратов становятся глобусы или шире — *картографическое представление*.

Глобусы на картине Гольбейна требуют особого внимания. Прежде всего, их два — глобус небесной сферы (представляющий, по сути, конечный космос Аристотеля) и глобус Земли. «Послы» — одно из первых произведений европейской живописи, на котором представлен именно земной глобус¹⁰³. Ни один из глобусов такой модели (с ручкой для держания в руке, входящей в поверхность глобуса в точке Северного полюса) до нас не дошел [Nurminen, 2015, p. 189]¹⁰⁴. Но Питер Слотердаjk напомнит нам, что примерно с 1500 года (время начала распространения именно земных глобусов) и вплоть до 1830-х годов глобус небесной сферы и глобус Земли изготавливались и устанавливались вместе в качестве своеобразных «сфер-двойников», выполнявших функцию по репрезентативной консолидации эпистемологического режима и режима политического: «Лишь вместе два этих шара выполняли свою космографическую миссию, и лишь вместе они, установленные на крышах монарших дворцов, в холлах и читальных залах крупнейших европейских библиотек от Мадрида до Москвы, символизировали универсум знания и знание универсума. Где бы ни находились шары-близнецы, они везде совместно указывали представителям образованных сословий на привилегированную обязанность сильных мира сего смотреть во все стороны» [Слотердаjk, 2007, с. 67]¹⁰⁵. Именно эта двойная конфигурация представлена у Гольбейна, где глобус Земли, будучи меньшего размера и располагаясь на нижнем ярусе стола, еще сохраняет свое подчиненное положение (соответствующее подчинению географии космографии), но при этом уже заявляет претензии на автономию — не в последнюю очередь встроенными в него репрезентационными схематизмами. Что удивляет в глобусе Земли на картине Гольбейна, так это его очевидный визуальный прагматизм и эмпиризм. Нам не требуется больших усилий, чтобы проинтерпретировать его визуальный язык и его визуальные риторические фигуры и понять предлагаемую им визуальную классификацию мира. В отличие от небесного глобуса, он не содержит и следа античного или средневекового символизма. И если география XVI века, по замечанию Дениса Косгроува, «была гибридом текстуального авторитета и эмпирического наблюдения, открывая обширное пространство для воображения и изобретения в представле-

¹⁰³ В 1477 году земной глобус появляется на фреске Донато Броманте «Плачущий Гераклит и смеющийся Демокрит» (Пинотека Брера, Милан), а в 1511 — на фреске Рафаэля Санти «Афинская школа» (в расположенной в правом нижнем углу группе, в которую входит сам Рафаэль, земной глобус держит стоящий спиной к зрителю Птолемей. Напротив него стоит предположительно Гиппарх, держащий в руке глобус небесной сферы).

¹⁰⁴ То, что мы имеем здесь дело с инновационным для эпохи Гольбейна объектом (новшеством в порядке визуальной репрезентации), подтверждается тем фактом, что самый ранний из сохранившихся глобусов Земли — «Земное яблоко» немецкого мастера на службе португальской короны Мартина Бехайма — был создан в 1492 году по заказу городского совета Нюрнберга. Но глобус Бехайма представляет еще «доколумбовый мир», то есть мир «без Америки». О технических и интеллектуальных процедурах конструирования глобусов как трехмерных моделей Земли (включая космографические глобусы Петра Апиана и Геммы Фризия), а также их использовании см. статью Элли Деккер «Глобусы в ренессансной Европе» [Dekker, 2007], которая также содержит каталог небесных и земных глобусов, созданных в Европе в период с 1300 по 1600 гг.

¹⁰⁵ Попытку рассмотреть на примере одной из коллекций карт, собранных для сына своего патрона Гехардом Меркатором, что на практике могло означать обучение подобному картографическому видению, см., например, в статье «Карты для Принца» Ли Вандель [Wandel, 2019].

нии земной поверхности» [Cosgrove, 2001, p. 133], то гольбейновский глобус Земли — почти явное исключение из этого обобщения¹⁰⁶. Земной глобус как картографическое представление не является здесь поверхностью, на которую желание, страх, воображение или память проецировали бы свои фигуры, образы, наваждения и упования, разыгрывая свои сложные и загадочные визуальные и дискурсивные игры. Здесь нет долго сохранявшегося в европейской интеллектуальной истории напряжения между теологизированной и/или мифологизированной картографией и эмпиризмом навигационных практик.

Глобус Земли как бы подчинен принципу репрезентационного минимализма и политико-эпистемологической функциональности: пространство мира сведено к мере и порядку, оно размечено и организовано координатной сеткой математических линий, широт и долгот, но это и пространство, артикулирующее одновременно актуальный мировой политический порядок. Так, помимо уже вполне узнаваемых в своих очертаниях территорий (Европа в целом, Италия, Скандинавия, Балтийское, Черное, Средиземное моря, части южноамериканского и африканского континентов, Ближний Восток и т. д.), а также плотного множества политических и географических названий и делений (например, NORBEGIA, MOSCOVIA, FRANCIA, ANGLI, AFRICA, BRASILICI, TROPICA CANCERI и пр.) гольбейновский глобус содержит «Папский меридиан» — LINEA DIVISIONIS CASTELLANORV ET PORTVGALLEN. 4 мая 1493 года папа Александр VI Борджиа выпустил буллу *Inter Caetera*, которая передала кастильской короне в вечное владение «все острова и материи, найденные и те, которые будут найдены, открытые и те, которые будут открыты, к западу и югу от линии, проведенной и установленной от арктического полюса, т. е. севера, до антарктического полюса, т. е. юга, <...> названная линия должна отстоять на расстоянии ста лиг к западу и югу от любого из островов, обычно называемых Азорскими и Зеленого мыса» (цит. по: [Алиев, 2018, с. 11]). Эта булла входила в определенное противоречие с амбициозными планами португальской морской экспансии, что потребовало специального урегулирования. Оно было достигнуто Тордесильским мирным договором между Испанией и Португалией в 1494 году, дополнительно санкционированным папской буллой Юлием II в 1506 году. Земной глобус Гольбейна представляет линию раздела мира между Португалией и Испанией по Тордесильскому договору.

Тщательно выписанный Гольбейном земной глобус — это сложный объект. Будучи воплощением эмпирически невозможной точки зрения, то есть сложным гибридом теоретического конструирования и наглядности, он является одной из тех репрезентационных поверхностей (наряду, например, с плоскостной картой или таблицей) или мест, где «собираются другие, удаленные в пространстве и времени места и оказы-

¹⁰⁶ В европейской интеллектуальной и политико-экономической истории карта становится, говоря словами Кристиана Жакоба, одним из «привилегированных мест графических экспериментов» [Jacob 2006, p. 106]. Прежде всего, конечно, экспериментов по визуальному представлению эмпирических («открываемых») или еще остающихся виртуальными территорий (карты Ренессанса и Нового времени содержат многочисленные виртуальные линии, заполняющие лакуны в знании — графические спекуляции, создающие пространства, которые еще не могут репрезентировать). Достаточно вспомнить о многообразии разработанных в картографии проекций, позволяющих производить математически контролируемые преобразования трехмерного объекта в плоскостной двухмерный объект. Одной из интереснейших проекций, разработанной в XVI веке и ставшей чрезвычайно популярным картографическим форматом, является проекция Стаба-Вернера, или кардионидная проекция. Карты, выполненные в этой проекции, имеют форму сердца и обеспечивают схождение меридианных линий в точках южного и северного полюсов, в отличие, например, от равноугольной цилиндрической проекции Герарда Меркатора, где точки северного и южного полюсов Земли преобразуются на картографической плоскости в прямые линии. Но картографические объекты — это и экспериментальные площадки, на которых отрабатываются различные способы визуализации концептуального. (См., например, замечательную статью Антона Нестерова, посвященную «эмблематическим картам» раннего Нового времени [Нестеров, 2015]. Об эмблематизме карт см. главу «Эмблематический глобус» в книге Косгроува [Cosgrove 2001, p. 139–175], а также статью Мэтью Эдни [Edney, 2007].)

ваются синоптически представлены взгляду» [Латур, 2017, с. 112], одним из тех тотализирующих представлений, которые сводят многое (в пределе — все) перед одним взором¹⁰⁷.

«Послы» Гольбейна утверждают глобус и реализованную в нем универалистскую оптику как модельный объект политических и эпистемологических притязаний и одновременно императив, что «господствовать — это видеть», в том числе то, «что происходит далеко в других местах» [Alpers, 1984, р. 201]. Земной глобус (как и плоскостная карта мира) — эта визуальная форма универсального синопсиса, но при этом и «визуальной нормализации» мира — как бы указывает на то, что теперь становится пространством наблюдения и пространством политических манифестаций и какова та предельная референциальная рамка, где теперь должны быть размещены они сами и их результаты. Слотердаик называет земной глобус «типографским чудом-произведением» [Слотердаик, 2007, с. 826]. Наверное, плоскостная карта мира является не меньшим чудом. Но в чем оно, собственно, заключается? Чудо подобных картографических представлений — это чудо эмпирического объекта (вот этот глобус, вот эта карта), моделирующего и поддерживающего эмпирически нереализуемые оптики и способы виденья¹⁰⁸, которым тем не менее предоставлены гарантии эмпирической референциальной адекватности (Земля такова — смотри!)¹⁰⁹. Мы здесь имеем работу какого-то сложного оптического механизма, осциллирующего между эмпирическим порядком и порядком интеллигибельным, но при этом наглядно представленным. Картография как бы вычерчивает принципиально новое, замещающее эмпирические объекты поле видимости, которое становится не только новым пространством наблюдения, но и новым пространством контроля — «карта позволяет увидеть нечто без нее незримое» [Альперс, 2018, с. 177]. В 1662 г. Джоан Блау, представляя Людовику XIV свой новый атлас мира в 12 томах *La Grande Atlas*, сопровождал его введением: «Карты позволяют нам, оставаясь дома, размышлять о вещах отдаленных и созерцать их воочию» (Цит. по: [Альперс, 2018, с. 192]). Синоптический взгляд, взгляд тех, «кто обладает властью и знанием», обращенный уже не в Небеса, а на Землю, и тотализирующие репрезентации¹¹⁰ превратятся в одни из главных интеллектуальных и политических фантаз-

¹⁰⁷ Несмотря на то, что глобусы лишены тех проекционных искажений (если абстрагироваться от несовершенной геометрической формы земного геоида), которые характерны для любой плоскостной карты, последняя по сугубо практическим причинам гораздо лучше поддерживает механику синоптического взгляда и его иллюзии. Но все же глобус своей собственной механикой (например, осевым вращением или возможностью сделать обход) обеспечивает визуальный доступ к любой точке своей поверхности. В «кимперии наблюдения» они выполняют почти исключительно символическую функцию, в отличие от карт — этих поливалентных инструментов политического господства и научного исследования («Карты — это машины, преобразующие социальную энергию в социальное пространство, социальный порядок и знание» [Wood, 2010, р. 6]). На картине Гольбейна карт нет, но они во множестве представлены в голландской живописи XVII века; например, карта Нидерландов образует едва ли не композиционный и смысловой центр легендарного «Искусства живописи» Вермеера (1666). (По тонкому наблюдению Светланы Альперс, единственные мужские персонажи, которых Вермеер удостоил особых полотен, — это «Астроном» (1668) и «Географ» (1668–1669) — «профессиональные создатели карт, поделившие между собой небо и землю» [Альперс, 2018, с. 174].)

¹⁰⁸ Они нереализуемы или по причине технических ограничений, характерных для той или иной исторической эпохи, например, вид сверху (как замечает неизменно внимательный Слотердаик, «литературные и картографические манифестации с самого начала намного опережали технические» [Слотердаик, 2007, с. 820]; ср. со схожим наблюдением у Мишеля Серто [Серто, 2013, с. 186–187]), или же являются нереализуемыми эмпирически принципиально, например, виденье «всей» земли, «обеспечиваемое» плоскостной разверткой ее поверхности на карте.

¹⁰⁹ Ср. с замечанием Альперс: «Но при всем различии требований [предъявляемых картам] нельзя забывать об ауре знания, которой карты обладали сами по себе, независимо от характера и степени их точности. Эта аура придавала престиж и власть карте как типу изображения» [Альперс, 2018, с. 177]. Согласно Дэнису Вуду, в карту вписана онтологическая презумпция существования: «Это то, что делают карты, — утверждают существование изображенных на них вещей. Это здесь, а это — там... как таковые карты — это аргументы существования» [Wood, 2010, р. 34].

¹¹⁰ Великий историк картографии Брайан Харли будет писать о картографах, создающих

мов (но и инструментов) империи наблюдения и предметом непрекращающихся политико-эпистемологических проектов XVII–XVIII¹¹¹. Но не выполняет ли нарисованный Гольбейном на переднем плане череп не только функцию выражения моральной сентенции *Memento mori*, но и функцию визуальной (оптической) критики синоптического взгляда (с его проективными и перспективными техниками¹¹²) и тотализирующих репрезентаций, которые несмотря на силу, которой их наделяет порядок доминирования, всегда находятся под угрозой подрыва со стороны тех сил, которые они стремятся упорядочить и которые продолжают вести свое существование по ту сторону порядка господства и поддерживающих его систем репрезентации¹¹³?

* * *

Если на «Послах» Гольбейна, несмотря на весь их загадочный символизм, неустранимо присутствует «реалистичный» план, который в режиме сдержанности и даже будничности демонстрирует властные механизмы в действии, то созданный Яном Ванделааром¹¹⁴ для флоры¹¹⁵ *Hortus Cliffortianus* Карла Линнея фронтиспис активно задей-

«пространственный паноптикум» [Harley, 2001, p. 166]. Однако нетривиальным является вопрос: как и где практически собирается подобный синоптический и тотализирующий взгляд. Значительная часть современных исследований по истории картографии посвящена тем формам «коллективного эмпиризма», которые обеспечивали подобную сборку или терпели крах (см., например, [Harris, 1998] и [Turnbull, 2003, p. 107–126]). Но есть и еще один (феноменологический) вопрос: как карта (как и любая форма визуальной репрезентации) организует своей собственной визуальной архитектурой и сложностью работу воспринимающего взгляда — вплоть до поддержания различных форм «визуального номадизма». См. в этой связи проведенный Кристианом Жакобом анализ функции ветродуев, океанических «монстров» и картушей на ренессансных и нововременных картах [Jacob, 2006, p. 109–118].

¹¹¹ Дастон [Daston, 2011, p. 91] упоминает об одной неопубликованной записке Лейбница, адресованной предположительно одному из европейских правителей, в которой он предлагает проект «Государственной таблицы», в которой были бы систематизированы все устные и письменные отчеты хорошо информированных путешественников и представлены в компактной обобщенной форме, позволяющей государю «охватить сразу одним взглядом связь вещей». Показательно, что Лейбниц сравнивает свою таблицу с «картами земли и океанов», приводя в качестве примера «карту ветров» Эдмонда Галлея 1686 года, ставшую, по словам Дастон, «подлинным триумфом коллективного эмпиризма» [ibid.].

¹¹² Такую точку зрения высказывает Том Маккарти в своем предисловии к коллективному проекту с характерным названием «Альтернативный атлас современных картографий» [McCarthy, 2014]: череп на картине Гольбейна оптически не согласован с остальным изображением — введение его в оптический фокус, что требует занятия строго определенной дистанции по отношению к картине, ведет к визуальному распаду остального изображения — людей и их политико-эпистемологических инструментов.

¹¹³ Производимые картографическим представлением эффекты визуальной тотализации и нормализации были предметом постоянных критических выпадов со стороны Мишеля Серто — этого своеобразного контркартографа. В своей антропологии повседневности он будет отчаянно пытаться найти способы говорить об инаковости (и конститутивной для нее «другой пространственности»), «ускользающей от воображаемой тотализации взгляда, которая не имеет поверхности или же ее поверхность является только выдвинутым краем, выступающим на фоне видимого. Внутри этого целого я намереваюсь выявить практики, чуждые “геометрическому” или “географическому” пространству визуальных, паноптических и теоретических конструкций» [Серто, 2013, с. 188]. Не лежит ли в основании антропологии повседневности Серто вопрос о том, возможна ли картография невидимого (или того, чему не придана наглядная форма) или картография, разрывающая с режимом визуальности как таковым? Как она может быть не только помыслена, но и практически реализована? Если мы допускаем подобную возможность, то Серто оказывается гораздо более радикальным контркартографом, чем те, кто сейчас выступает под эти именем и использует «контркартографию» для интеллектуальной и политической мобилизации. Едва ли не все контркартографические проекты остаются скопическими и визуальными. (См., например, недавно вышедшую и чрезвычайно богато иллюстрированную своеобразную активистскую антологию по контркартографированию «Это не Атлас: глобальная коллекция контркартографий» [Kollektiv Orangotango+, ed., 2018].)

¹¹⁴ Ян Ванделаар (1690–1759) — один из самых востребованных научных иллюстраторов и граверов XVIII века. В частности, именно с его помощью анатом Бернард Зигфрид Альбинус создает один из самых влиятельных анатомических атласов XVIII века *Tabulae sceleti et musculorum corporis humani* («Таблицы скелета и мышц человеческого тела», 1747) [Дастон, Галисон, 2018, с. 127–128].

¹¹⁵ Здесь: флора — это жанр обзорного труда по естественной истории, посвященный растительному

ствуется мифологические мотивы и сюжеты. Общая тональность этого изображения — это праздник и триумф. Нас будет интересовать сам факт появления подобного изображения на книге по ботанике, ставшей в XVIII веке одной из главных наук наблюдения или, как скажет Дастон, «чарующей Большой наукой» [Дастон, 2020, с. 79]. Как мы увидим, это изображение не лишено двусмысленности, которая порождает некоторые интерпретативные сложности. Но своим визуальным порядком оно что-то (и вполне определенно) говорит нам об империи наблюдения, одновременно прославляя ее.



Ил. 2. Ян Ванделаар, Фронтиспис, Карл Линней, *Hortus Cliffortianus*, 1738

В начале второй главы своей «Объективности» Лоррейн Дастон и Питер Галисон следующим образом опишут этот фронтиспис: «Задуманная и осуществленная Яном Ванделааром, написавшим также сопроводительное пояснение в стихах, эта аллегорическая гравюра — изображение подношения Европе «самых благородных растений, плодов и цветов, которыми могут гордиться Азия, Африка и Америка». (Гладиолус на ил. 2.1¹¹⁶ был, например, из Африки.) На переднем плане путти показывают инструменты научного садоводства: лопаты и жаровню, но также термометр и геометрический план грядки, что символизирует грандиозные амбиции книги» [Дастон, Галисон, 2018, с. 108]. Итак, перед нами сцена подношения, однако Дастон и Галисон одной страницей ранее опишут ее несколько по-другому: «Фронтиспис был украшен аллегорическим изображением континентов, подносящих растительные дары Аполлону, нарисованному с чертами Линнея» [Дастон, Галисон, 2018, с. 107]. Эти два описания создают неопределенность: кому, собственно, делается подношение и какова функция Европы в этом подношении? Ответ на первый вопрос обычно не вызывает сомнений. Подношение де-

разнообразию определенной территории. В данном случае такой территорией стали обширный сад, оранжерея и богатейшие ботанические коллекции поместья Хартекамп, располагавшегося в окрестностях голландского города Хемстеде и принадлежавшего амстердамскому банкиру, одному из директоров голландской Ост-Индской компании и ботанику-любителю Джорджу Клиффорду (1685–1760). В 1735 году молодой Линней становится суперинтендантом сада в поместье Хартекамп, получив тем самым возможность вести работу по ботанической классификации и изучению экзотических растений и осваивать передовые («голландские») методы садоводства, позже перенесенные им в шведскую университетскую Упсалу [Harnesk, 2007, p. 31–33].

¹¹⁶ См. изображение на странице 106 русского перевода «Объективности» [Дастон, Галисон, 2018, с. 106].

лается центральной фигуре, сидящей на льве и держащей в руках ключи. Но это, очевидно, не Аполлон, которому приданы черты Линнея. Он стоит от этой фигуры справа, держа в левой руке факел разума, рассеивающий тьму незнания и невежества. Центральная фигура на гравюре Ванделаара — это, почти вне всякого сомнения, Мать-Земля, принимающая подношения от континентов, символизируемых фигурами, располагающимися от нее слева. Этих фигур четыре по числу континентов, но только три из них держат в руках растительные подношения Матери-Земле — Азия, Африка и Америка. Но что характерно, Европа, помещенная Ванделааром ближе всего к Матери-Земле, ничего ей не подносит. О чем говорит подобная асимметрия, которая подтверждается следующим фрагментом из стихотворного сопровождения гравюры?

*Так что Европа может тут кругу года
Противостоять фестонами, сплетенными друг с другом
Из благороднейших растений, фруктов и цветов,
Которыми славятся Азия, Африка и Америка.
Особенно это доказывает банан, растение,
Впервые освященное на этом месте в Нидерландах...*
(Пер. с нидерландского Веретенцевой Л.)¹¹⁷

Не является ли фронтиспис *Hortus Cliffortianus* визуальным выражением политики природы и политики знания? Европа, превращающая в фестоны растительные дары других континентов, может быть или напрямую отождествлена с Матерью-Землей (и тогда оправдано одно из приведенных описаний Дастон и Галисона, но тогда загадкой остается функция фигуративного раздвоения, к которому в таком случае прибег Ванделаар), или понята как место ее обитания или, наконец, как посредник (визуальный динамизм гравюры позволяет сделать и такой вывод), но все три эти толкования только усиливают отмеченную асимметрию между Европой и остальными континентами. Отождествление Матери-Земли с Европой делает уже Герхард Меркатор в предисловии к своему «Атласу» (1595), отмеченному той же, что и гравюра Ванделаара, риторикой триумфа и превосходства — эпистемологического и одновременно политического: «Здесь [в Европе] мы имеем право на законы, испытываем гордость за христианскую религию и обладаем силой оружия. Более того, Европа управляет всеми искусствами и науками с такой ловкостью, что по причине изобретения множества вещей может по праву называться Матерью... <...> она обладает всеми разновидностями учёности, в то время как все остальные страны погружены в варварство» (цит. по: [Cosgrove, 2001, p. 133]). Еще ранее на фронтисписе «Зрелища круга земного» (*Teatrum orbis terrarum*, 1570) Абрахама Ортелиуса Европа появляется, держа скипетр и державу — символы универсального правления¹¹⁸. Явная асимметрия, которая размечает ванделааровский фронтиспис, показывает, что он, расположенный в промежуточной стилиевой зоне между барокко и классицизмом и, по видимости, лишенный очевидных политических коннотаций (в отличие от «Послов» Гольбейна), тем не менее выражает своим иконографическим строем вполне определенный политико-эпистемологический поря-

¹¹⁷ Мы выражаем глубокую признательность Любви Веретенцевой и Дане Сергеевой (филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова) за перевод и помощь в разборе стихотворения Ванделаара, написанном на нидерландском языке. С его оригиналом можно ознакомиться по адресу: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Linnaeus_Hortus_Cliffortianus_poem.jpg (дата обращения: 20.10.2020). Банан в этом стихотворении упомянут не случайно — он и как растение, и как плод изображен в правом верхнем углу гравюры. Клиффорд, директор Ост-Индской компании, первым в Европе в своем саду смог вырастить это растение, завезенное из торговой фактории острова Амбон Молукского архипелага — долгое время центра Ост-Индской компании. Линней посвящает банану одну из своих первых работ — «Банан Клиффорда» (*Musa Cliffortiana*, 1736), а в Нидерландах до сих пор производят банановый ликёр Pisang Ambon.

¹¹⁸ См. описание этого фронтисписа у Косгроува [Cosgrove, 2001, p. 131–133].

док: Европа — это не только противостоящая «кругу года» географическая зона присвоения и потребления (это противостояние, означающее независимость потребления от сезонных колебаний, стало, очевидно, возможным за счет монополизации международной торговли), организованных вокруг неравных обменов, но и привилегированная территория эпистемологического накопления (или, говоря словами Бруно Латура, «центр калькуляции»), которое генерируется в том числе практиками наблюдения и его машинами, например, ботаническим садом.

Гравюра Ванделаара — это не только восхваление экономической и политической мощи Европы, подчиняющей себе другие континенты в ходе своей колониальной и торговой экспансии, это еще и прославление хозяина сада, ботаническому богатству которого и посвящена флора Линнея (бюст Джорджу Клиффорду, банкиру и ботанику-любителю, также изображен на фронтисписе), и самого сада как места. Но что такое ботанический сад как не выделенное и организованное пространство наблюдения, еще одно из тех мест, в которые собираются другие места перед пытливым взором наблюдателя. Империя наблюдения инфраструктурно зависит от подобных мест¹¹⁹. В XVIII веке ботанические сады начинают выполнять в естественной истории функцию обсерваторий, а ботанические коллекции — материальных систем репрезентации. Характерно, что динамическое барочное буйство гравюры Ванделаара, в котором оказываются задействованы олицетворения континентов, растения, мифологические персонажи и которое должно показывать изобилие и жизненное богатство сада (метонимически переносимое на хозяина сада), оказывается уравновешенным (сверху и снизу) классическим бюстом и геометрическим планом грядок в саду. Геометрия конституирует пространство наблюдения как пространство порядка. Фронтиспис Ванделаара не явным образом (так как изображенный на нем геометрический план вполне может остаться незамеченным) утверждает, что пространство наблюдения — это поле организованной видимости и что не любое пространство поддерживает функцию научного наблюдения¹²⁰. Пространство наблюдения — это не кантовская априорная форма чистого созерцания, но это и не ньютоновское субстантивированное пространство, которое в силу своей принципиальной гомогенности и нейтральности предоставляет себя вещам и позволяет им вступать во взаимодействия, исходя из их собственной логики. Пространство наблюдения — это пространство, образованное материальными распределениями, ко-

¹¹⁹ Очевидно, что торговые сети Ост-Индской компании служили одновременно логистическими сетями пополнения европейских ботанических садов и ботанических коллекций, по которым растительное (и не только) разнообразие мира попадало в Европу, в том числе в сад самого Клиффорда. Много важных замечаний о логистике собирания биологических коллекций высказано Бруно Штрассером в [Strasser, 2012].

¹²⁰ В данной связи интересно было бы сравнить анализируемые Мишелем Фуко паноптические модели, включая получившие конкретное архитектурное воплощение в тюремных зданиях, казармах, школьных классах, фабричных цехах, клиниках [Фуко, 1999] (а это реальные пространства наблюдения) с циклом гравюр «Тюрьмы» (*Carceri d'Invenzione*, ок. 1745 г.) Джованни Баттиста Пиранези. В отличие от паноптически упорядоченного дисциплинарного пространства, «Тюрьмы» Пиранези представляют пространство, в котором невозможно наблюдение как систематическая, непрерывная и регулярная функция. Эта серия гравюр, представляющих децентрированное барочное пространство мегаломании, способное к бесконечному, но не подчиненное никакому регулярному принципу, саморасширению, и принадлежащее скорее порядку ониризма и радикального воображения, чем порядку функциональности или порядку экстремального физического насилия, уже давно стала интерпретативной загадкой, не в последнюю очередь из-за отсутствия явных эмпирических референтов, к которым могли бы отсылать эти гравюры: «... „Carceri“ поражают прежде всего своим несходством с традиционным образом тюрьмы. Во все времена кошмар тюрьмы заключался прежде всего в тесноте, в том, что человека заточали в камеру, размером сравнимую с могилой... Кроме того, подразумевались и физическое страдание, грязь, паразиты, крысы, кишачные во тьме, — омерзительный декор монастырских одиночек и подземных карцеров, преследовавший воображение романтиков. К этому унылому набору постоянных характеристик наш век добавил холодную функциональность нынешних образцовых тюрем, зловещую обыденность лагерных бараков... „Тюрьмы“ Пиранези с их мегаломанией далеки от этого смрадного ужаса и гнусного лицемерия» [Юрсенар, 2004, с. 103–104].

которые и поддерживают функцию наблюдения и связанные с ним эпистемологические операции. Это пространство аналитическое сразу в двух смыслах: во-первых, оно функционально сегментировано и навязывает размещенным в нем объектам режим регулярности и контролируемого появления перед наблюдающим взглядом; во-вторых, это пространство делает возможным аналитические операции (сравнения, классификации, категоризации, построения статистических распределений, установления средних величин и значимых отклонений, задания нормативности — операции, объективирующий эффект которых всегда удваивается письмом (записью) и архивацией. Почти незаметный, так как не является визуальным центром гравюры, геометрический план грядок как бы скрывает фундаментальную операцию, совершаемую ботаническим садом как машиной наблюдения — преобразование буйного и изобильного природного естества в строгий классификационный порядок¹²¹. Иными словами, пространства наблюдения — это и дисциплинарные пространства. XVII–XVIII века — это и великая эпоха установления дисциплинарных режимов с конституирующими их политиками наблюдения, историю которых написал Мишель Фуко. История этих политик — собственная часть истории империи наблюдения.

* * *

Мы не уверены в том, что нам удалось до конца реализовать свой замысел. Представленные соображения могут показаться фрагментарными, и они, конечно, требуют дополнительных уточнений и обоснований. Но вопрос о том, что визуальные репрезентации по ту сторону своей возможной символической или аллегорической структуры говорят нам о фактических модальностях знания и различных политико-эпистемологических режимах, оформлению и консолидации которых они способствуют (а именно с этой точки зрения мы стремились проанализировать «Послов» Ганса Гольбейна и фронтиспис «*Hortus Cliffortianus*» Яна Ванделаара), нам представляется достаточно интригующим и стимулирующим, чтобы пытаться на него ответить.

¹²¹ Не имеют ли карта и ботанический сад нечто общее, что делает их столь важными «элементами» империи наблюдения? Во всяком случае, авральный рост картографической продукции по времени почти совпадает с распространением в Европе ботанических садов. Возможно, некоторую подсказку дает следующее замечание, которое делает Кристиан Жакоб о картах: «Карта устанавливает новое пространство видимости путем дистанцирования от объекта и замещения его репрезентирующим образом... <...> карты стремятся представить тотальность, создать новый горизонт видимости и мышления через графический и интеллектуальный синтез фрагментарных данных» [Jacob, 2016, p. 2, 7]. Не создает ли ботанический сад «новое пространство видимости», замещая природу в «естественном состоянии»? Не стремится ли он по крайней мере в пределе создать тотальность, но не тотальность природы как таковой, а ее классификационного порядка (вспомним, что именно классификация растительного и животного разнообразия — главная проблема естественной истории XVII–XVIII вв.), сделав этот порядок наглядным и видимым, то есть наблюдаемым?

Глава 8. Левиафан и эпистемология общественного согласия*

Глава посвящена «потерянной» историографической гипотезе С. Шеффера и С. Шейпина, содержащейся в работе «Левиафан и воздушный насос». Согласно этой гипотезе, радикальные изменения в интеллектуальной культуре и эпистемологические разрывы между ее разными типами возникают как реакция культуры на фундаментальный социальный кризис, наносящий удар по ценностным основаниям и повседневной жизни. Примером является зарождение научной традиции Нового времени в Англии второй половины XVII в. вследствие английской революции. Рассматриваемая гипотеза представляет существенный интерес как в контексте споров о причинах и статусе «научной революции», так и в связи с историко-эпистемологической проблемой взаимоотношений между эмпиризмом (экспериментализмом) и рационализмом в новоевропейской эпистемологии. Автор делает предположение, что поставленная английской революцией задача учреждения общественного согласия, выделенная С. Шейпиным и С. Шеффером в качестве основной цели методологических изысканий как Р. Бойля, так и Т. Гоббса, может дать ключ к пониманию в равной мере исторических причин возникновения и эпистемологического единства интеллектуальной культуры Нового времени («науки»).

Ключевые слова: историческая эпистемология, философия науки, методология науки, история науки.

В историографии интеллектуальной культуры период европейской истории, охватывающий XVII столетие и частично захватывающий соседние века, занимает совершенно особое положение. С легкой руки А. Койре пришедшие на этот период события получили имя «научной революции»,¹²² что должно было подчеркнуть, что в это время «человеческий разум или, по крайней мере, разум европейский претерпел — а может произвел — чрезвычайно глубокую духовную революцию, которая изменила сами строение и контуры нашей мысли, революцию, в отношении которой современная наука представляется одновременно и корнем, и плодом» [Койре, 2001, с. 7].

Сравнительно поздняя терминологическая фиксация специфики XVII столетия не должна вводить в заблуждение — формирование историографии «научной революции» началось намного раньше, чем это словосочетание вошло в профессиональный обиход историков и философов науки. По сути, уже В. Хьюэлл (W. Whewell, 1794–1866), которого можно считать одним из создателей истории науки [Уео, 1993], сам следуя «бэконской» традиции, отмечал Ф. Бэкона и его время как отправную точку «великой ре-

© Т.А. Вархотов

* Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-011-00281 А «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы».

Данный раздел основан на вышедших ранее статьях автора [Вархотов, 2020а; Вархотов, 2020б].

¹²² В качестве общепринятого термина «научная революция» закрепилась благодаря вышедшей в 1939 году работе А. Койре о Галилее (*Études galiléennes*), автор которой понимал под «научной революцией» уникальное событие в области истории идей (по выражению Д. Вуттона, «единичная интеллектуальная мутация») — переход от аристотелевского понятия места (и, соответственно, онтологии конечных, обладающих формой объектов) к понятию бесконечного и пустого пространства, что сделало возможным классическую механику и последующее развитие математики и физики. В то же время современное словоупотребление обычно опирается на представление о научной революции, связанное с работами Т. Куна, рассматривавшего ее как повторяющееся и локальное событие, характеризующее прерывистость практик научного сообщества — парадигмальные разрывы, характерные как для истории интеллектуальной культуры в целом, так и для отдельных дисциплинарных историй («дарвиновская революция» в биологии и т. п.). Подробнее об истории и историографических перипетиях «научной революции» см. [Депар, Шейпин, 2015, с. 315–324; Вуттон, 2018, с. 19–30].

формы философии и метода», — завершение которой, правда, Хьюэлл считал задачей своего века [Whewell, 1837, p. vii-viii].

Начиная со второй половины XX века, концепт научной революции — в особенности, в том понимании, которое придал ему А. Койре, — подвергается активной критике. Атакующие опирающуюся на него историографию авторы отмечают, во-первых, путаницу со значением термина и неопределенность в оценках количества и периодизаций научных революций, а во-вторых, тот факт, что речь в любом случае идет не о точечном событии, а о длительном периоде культурной истории без четких хронологических рамок и наличия «соотносимого с самим собой» одного и того же трансформирующегося объекта — «науки» или «знания»: «На практике существовали расходящиеся направления культурных практик, направленных на понимание, объяснение и хозяйственную каталогизацию естественного мира, — у каждой из этих практик были свои особенности, предопределявшие меру возможных изменений» [Депар, Шейпин, 2015, с. 319; ср.: Daston, 2016]. Еще одна линия критики эндемична для собственно исторического взгляда на интеллектуальную культуру — т. е. для специфического эмпиризма, стремящегося оперировать больше свидетельствами, чем идеями, и обращающего на тексты и прочие следы прошлого внимание более пристальное, чем на предположительно содержащиеся в них «смыслы». Для «историков», начиная, по крайней мере, с П. Дюгема концепт «научных революций» игнорирует фактическую непрерывность исторической ткани и линии преемственности, вплетающиеся в сюжеты «революционных перемен», — причем нередко ключевые герои «революции» оказывались приверженцами тех, против кого эта революция якобы была направлена [Garber, 2016].

В то же время, несмотря на всю критику, «никто не будет спорить с тем, что в XVII веке имели место экстраординарные события» [Garber, 2016, p. 134]. И становление экспериментальных практик в контексте новой эпистемологии, и институциональные изменения, такие как зарождение социальной роли «ученого», и трансформация системы администрирования и воспроизводства знания [Бен-Давид, 2014], — все это свидетельствует в пользу особого статуса XVII столетия, вне зависимости от того, назовем ли мы происходящее «научной революцией», или, например, вслед за Д. Вуттоном, эпохой «изобретения науки» [Вуттон, 2018, с. 21].

В результате этих споров о «научной революции» и «научных революциях» в историографии интеллектуальной культуры сложилась двусмысленная ситуация. Пафос критиков «старой» историографии (в равной мере «интерналистской» истории идей в духе А. Койре и «экстерналистских» причинно-следственных объяснений от истории «больших» социальных институтов — экономических, политических и т. д.) в том, что «все обстоит намного сложнее», и внимательный взгляд на историческую ткань (практики) приводит к «контекстуальной» истории науки, которая «стремится к нарративам, столь же замысловато сотканным, как гобелены, а не к структурам, прочным, как стальные балки» [Daston, 2016, p. 120]. Однако этот «контекстуальный» подход, в той или иной степени предполагающий методологическое смещение к микроисторическому анализу и, безусловно, обеспечивающий гораздо более фактурную и живую реконструкцию отдельных эпизодов, предрасположен «за деревьями не видеть леса» и, стараясь избегать обобщений и закономерностей макроисторического (а, тем более, универсально-исторического) характера, теряет из виду то, чего вроде бы никто не оспаривает, — а именно, что, невзирая на всю пестроту, сложность и обилие анахронизмов внутри этого события, все же по XVII столетию проходит очевидный эпистемологический разрыв. По разные стороны от этого разрыва находятся две разные интеллектуальные культуры, и многочисленные линии преемственности, ведущие от Средневековья через Ренессанс к Новому времени, никак не отменяют того, что различия между исследовательскими культурами (совокупностями эпистемологических и моральных установок и связанных с ними практик) по разные стороны этого разрыва существенно более значительны, чем те различия, которые могут быть обнаружены внут-

ри каждой из них. Симптоматично, что наличие в истории интеллектуальной культуры такого рода разрывов, как правило, и не оспаривается, критике подвергается лишь возможность простого и ясного объяснения.

Развитие исторической эпистемологии, в той или иной степени встроенной во все исследования науки второй половины XX — начала XXI в. и несущей в себе требование «мыслить науку исторически» [Шиповалова, 2017a], породило сложную задачу поиска универсалий в условиях презумпции релятивизма: любое объяснение, любой закон, любая схема, принадлежащие полю исторических объектов, не являются в строгом смысле слова трансцендентальными, а значит, всегда могут быть пересмотрены. Необходимость учитывать перспективу пересмотра и всегда присутствующую возможность исторической аберрации подталкивает к отказу от «больших» объяснений и мягкой форме агностицизма, однако в конечном счете эти методологические позиции не совместимы с культурой научного знания. Мы *должны* стремиться к обобщениям и универсалиям, даже если *не можем* никогда обосновать их окончательно, — по сути, речь идет о сочетании презумпции фаллибилизма и морального императива поиска в конечном счете недостижимой истины. Однако «безжалостный историзм» (термин, предложенный П. Галисоном и удачно развитый моей коллегой Л. В. Шиповаловой [Galison, 2008; Шиповалова, 2017a]) требует быть разборчивее в поисках общих принципов и объяснений и внимательнее в их защите. Все объяснения хода исторических событий уязвимы: внимательный взгляд всегда найдет множество исключений и контрпримеров, а общим итогом историзации интеллектуальной культуры стал отказ от самой возможности объяснять ее в терминах односторонних институциональных влияний и конкретных «внешних» факторов — как говорил герой серии романов Д. Адамса, «все связано со всем».¹²³

Одним из перспективных подходов к реконструкции и объяснению истории эпистемологического разрыва XVII столетия, равно как и к пониманию принципов развития интеллектуальной культуры в целом, является объяснение не через перекрестные институциональные влияния, а через характеристику исторического места образования разрывов — реконструкцию исторических периодов, содержащих фиксируемую на разных уровнях, вплоть до бытового деструкцию оснований социального порядка, привычного способа жизни и связанных с ним ценностей. Речь идет о попытке понять причины изменений не из «внутренней логики» интеллектуальной культуры или влияния какого-либо социального института, а из макроисторических событий, затрагивающих все общество и способных за счет этого производить изменения эпистемологических установок на уровне социокультурной системы в целом.

Ярким примером такого подхода является знаменитая работа С. Шейпина и С. Шеффера «Левиафан и воздушный насос» [Shapin and Schaffer, 1985]. Несмотря на то, что эта книга оказала колоссальное влияние на различные направления исследований науки и до сих пор остается своеобразным яблоком раздора, оживляющим линии напряжения между историками, социологами и философами науки,¹²⁴ содержащаяся в ней гипотеза о природе «научной революции» XVII столетия осталась незамеченной (в том числе, как ни парадоксально это прозвучит, и самими ее авторами, впоследствии никогда к этому сюжету не возвращавшимися).

«Левиафан» состоит из восьми глав, в первом издании имеется приложение — перевод с латинского на английский работы Т. Гоббса «Dialogus physicus» (1661), представляющей собой ответ на «Новые физико-механические эксперименты» Бойля (1660)

¹²³ Имеется в виду серия книг о Дирке Джентли — «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» (Dirk Gently's Holistic Detective Agency, 1987), «Долгое чаепитие» (The Long Dark Tea-Time of the Soul, 1988) и «Лосось сомнения» (The Salmon of Doubt, 2002, unfinished).

¹²⁴ См. номер журнала Isis, посвященный «Левиафану» С. Шейпина и С. Шеффера [Achbari, 2017; Bouterse, 2017] и другие статьи из этого номера, а также разбор рецепции «Левиафана» в [Вархотов, 2020a].

(из второго издания это приложение изъято). Книга начинается и заканчивается двумя краткими и очень плотными главами, содержащими своего рода политико-методологический манифест (где «методологический» больше относится к первой главе, а «политико» — к заключительной). «Наша цель состоит в том, чтобы разрушить ауру самоочевидности, окружающую экспериментальный способ получения знаний...», — пишут Шейпин и Шеффер, и далее: «“Истина”, “адекватность” и “объективность” будут рассматриваться как достижения, как исторические продукты, как суждения и категории действующих лиц. Они станут темами для исследования, а не ресурсами, которые могут быть для этого исследования использованы... <...> Мы намерены представить научный метод как кристаллизацию форм социальной организации и как средство регулирования социальных взаимодействий внутри научного сообщества» [Shapin and Schaffer, 1985, p.13–14].

Таким образом, радикальная историзация эпистемологии науки одновременно предполагает понимание всех рассматриваемых в книге вопросов как в равной мере «социальных», эпистемологический и социальный порядки оказываются неразрывно сплетенными, что выражается, в частности, в том, что решение эпистемологических проблем является ключом к решению социальных проблем, а потребность в поиске эпистемологических решений инспирируется социальными проблемами: «Если бы этот опыт можно было распространить на многих и, в принципе, на всех людей, то результат можно было бы утвердить как подлинный факт (matter of fact). Таким образом, подлинный факт следует рассматривать и как эпистемологическую, и как социальную категорию. Фундаментальный элемент экспериментального знания и того, что считается должным образом обоснованным знанием как таковым, представляет собой артефакт коммуникации и тех социальных форм, которые считались необходимыми для поддержания и улучшения коммуникации» [Shapin and Schaffer, 1985, p. 25].

Уверенность во взаимозависимости эпистемологии и социальных — прежде всего, политических — практик дает развитие центральному сюжету книги: эпистемологические изменения Нового времени («научная революция» в ее английской части) являются следствием поиска оснований социального порядка, разрушенного на уровне ценностного фундамента и повседневной жизни Великой английской революцией. Шейпин и Шеффер весьма убедительно демонстрируют, что в центре персональной работы и разногласий Р. Бойля, Т. Гоббса и ряда их современников находится поиск *надежных оснований социального согласия*. Социальное согласие (assent)¹²⁵ является главной целью поисков и предметом споров — именно борьба за принципы, на которых может быть установлено надежное общественное согласие, выливается в конкурирующие методологические программы и, в случае Бойля, — в «экспериментальную философию».

Важно подчеркнуть, что социальное согласие, вокруг которого, по версии Шейпина и Шеффера, вращаются эпистемологические поиски и нарождающиеся экспериментальные практики, — это не «общественное признание» идей или ценностей. Это предполагаемый способ «починить» (социальный) мир, устои которого надорваны и поставлены под вопрос английской революцией. На первый взгляд, отсылка к собы-

¹²⁵ «В оригинале assent, что также означает “санкция”, “дозволение” и т. п. Имеется в виду такая форма согласия, которая, с одной стороны, является консолидацией общественного мнения (конвенцией), а с другой стороны, может служить основанием дальнейшей практики (экспериментальной или политической) в качестве выданного обществом “дозволения”. В контексте “Левиафана и воздушного насоса” перевод assent как “согласия” представляется оптимальным также ввиду того, что термин является своеобразным фокусом всего пучка активно употребляющихся авторами слов и выражений с семантикой (социального) согласия: consent, convention, agreement и т. д.» [Вархотов, 2020а, с. 182–183]. В тексте «Левиафана» термин assent встречается ровно 100 раз, не считая предметного указателя, т. е. примерно на каждой четвертой странице; на мой взгляд, это пусть и грубое, но вполне однозначное свидетельство того, насколько связанный с поиском этого «учреждающего согласия» сюжет является важным для книги.

тиям революции и гражданской войны выглядит неспецифичной: безусловно, это значительное социальное потрясение, национальная драма, но едва ли она способна дать достаточный ресурс для объяснения зарождения нового типа интеллектуальной культуры — ведь это далеко не первое событие в истории Англии, которое можно оценить в качестве социального кошмара. Например, во время «войны роз» (1455–1485 гг.) тоже имела место гражданская война, причем гораздо более длительная, однако к кардинальным изменениям интеллектуальной культуры она не привела.

Однако оценка изменится, если принять во внимание, что революция нанесла тяжелейший удар не только по повседневной жизни общества, но и по самим основам институционального порядка. Она наглядно продемонстрировала, что социальный порядок, веками считавшийся «естественным», незыблемым и само собой разумеющимся, — порядок, в конечном счете установленный Богом, включая королевскую власть и конкретную правящую династию, — хрупок, ненадежен и запросто может обрушиться. Обезглавленный король, не имеющий прав на трон узурпатор у власти — все это не просто доставляло чувствительные неудобства в повседневной жизни. Ход революции заставлял усомниться в надежности и «естественности» всех «естественных» представлений, институтов и ценностей, включая наличие божественной санкции у разрушенного порядка и возможности рассчитывать на такого рода основание («божественное установление») в дальнейшем. Порядок нужно было изобрести заново, причем начиная с самых основ, — с того, *почему*, на каком основании этому порядку можно доверять. Ведь если ему нельзя безусловно доверять, кошмар может повториться вновь.

И основатель «экспериментальной философии» Р. Бойль, и его непримиримый оппонент и родоначальник политической теории Т. Гоббс принадлежат к поколениям свидетелей и участников революционных событий. Как и их современники, они были глубоко потрясены разверзшейся в 1640-е бездной. Они сохранили в собственной риторике образ гражданской войны как самой страшной угрозы, которую таят в себе эпистемологические, т. е. относящиеся к основаниям заблуждения и ошибки. И оба были движимы мотивом поиска фундамента надежного общественного согласия: «Экспериментализм Бойля и демонстративный путь Гоббса были предложены в качестве решения проблемы [социального] порядка. <...> Мы попытаемся обнаружить решения этой проблемы в широкомасштабных дебатах периода Реставрации о природе и основаниях согласия и порядка в обществе. Эти дебаты обеспечили контекст, в котором оценивались различные программы производства и защиты [социального] порядка» [Shapin and Schaffer, 1985, с. 21].

Следуя авторам «Левиафана», творчество Гоббса, Бойля, а равно и прочих их современников, необходимо рассматривать в контексте решения одной и той же аффективно значимой для всех участников этого процесса задачи: создать предпосылки для стабильной социальной системы, способной надежно защитить своих членов от братоубийственного ужаса «войны всех против всех» (хаоса анархии и гражданской войны). Эта задача может показаться «вечной» и не специфичной для Англии середины XVII столетия, однако все меняет новый исторический опыт поколений Гоббса и Бойля: революция не просто обезглавила короля (такое случалось и раньше), обезглавлен был сам институциональный порядок, сам институт королевской власти. Последовавшая реставрация была не способна исправить нанесенный ценностным основаниям урон: все видели, что «естественный» порядок социального устройства не такой уж и естественный, — по крайней мере, он не в состоянии сам себя защитить. Получается, что больше нельзя полагаться на традицию и естественность установленного Богом порядка — общество должно справиться само, полагаясь исключительно на те способности, которые «встроены» в человека. Только эти возможности непосредственно даны и неотчуждаемы (т. е. надежны), познаваемы и контролируемы. Тайна замысла Создателя, допустившего уничтожение благословленного Им порядка, неизвестна. Поэтому придется полагаться на то, что людям известно и подручно — на них самих. Люди

должны найти способ перейти к учреждающему согласию, которое только и может быть положено в основание социального порядка.

Профессиональные интеллектуалы и активные участники политического процесса Гоббс и Бойль видят сформулированную выше задачу как проблему эпистемологическую: социальное согласие требует пересмотра оснований производства того, что оформляет это согласие — знания; при этом, поскольку согласие такого рода не может быть случайным (временным), его необходимо встроить в эти основания. Соответственно, отправляясь на поиски оснований согласия, участники этой экспедиции видели свою задачу в нахождении такой эпистемологии, которая всегда уже включала бы согласие и поэтому не могла бы его утратить: «Мы намерены показать научный метод как кристаллизующий формы социальной организации и как средство регулирования социального взаимодействия в научном сообществе» [Shapin and Schaffer, 1985, p. 14].

Для достижения социального согласия необходимо определить «верный» способ поиска его оснований. Это объясняет, почему в эпоху «научной революции» на первый план выдвигаются вопросы методологии, и создает условия для формирования связи «эпистемология-социальный порядок»: достичь согласия можно только если знать, как это сделать, причем открываемый этим знанием путь должен быть воспроизводимым — нужен *метод*; в свою очередь, сам метод в качестве основания может иметь только согласие, поскольку все прочие основания, как выяснилось, могут обрушиться и ввергнуть мир в хаос: «В конечном счете, и онтология, и эпистемология имели одинаковое значение для достижения и сохранения общественного спокойствия. Беспорядок и гражданская война могли так же легко быть произведены неправильным пониманием природы и происхождения знания, как и неправильным представлением о том, какие виды вещей существуют. Покажите людям, что такое знание, и вы покажете им основания согласия и социального порядка» [Shapin and Schaffer, 1985, p. 100].

«Связь между средствами гарантии согласия и установлением незыблемого гражданского порядка была очевидна как для экспериментаторов, так и для Гоббса» [Shapin and Schaffer, 1985, p. 283], а «ошибки в эпистемологии были одновременно опасностями в политике» [Shapin and Schaffer, 1985, p. 306]. Будучи согласными по поводу сущностей связи социального и эпистемологического порядков, Бойль и Гоббс пришли к совершенно разным решениям общей проблемы. Для Бойля основанием согласия выступало свидетельство (экспериментальный опыт), которое при помощи специальных средств предполагалось сделать всеобщим и которое, основывая социальное согласие, по сути, на соучастии (совместном свидетельстве), позволяло расширить согласие с социального мира на мир природный (добиться согласия от вещей), соединив таким образом разорванные революцией естественный и социальный порядки. Гоббс, напротив, верил лишь в общность принципов устройства человеческого разума и по этой причине полагал основой согласия математику (чистый разум), а бойлевский коммуитаризм с его проектом внешним образом сформулированного согласия по поводу экспериментально стабилизированных очевидностей рассматривал как форму сектантства и узурпации власти локальным сообществом посвященных («экспериментальных философов») [Shapin and Schaffer, 1985, p. 331].

Позиция Бойля, т. е. победившей в конечном итоге «экспериментальной» эпистемологии, вкратце может быть передана следующим образом. Надежным является знание, извлеченное непосредственно из природы. Оно не может быть априорным и с необходимостью опирается на данные чувственного опыта. Однако «голые» человеческие чувства слабы и ненадежны, они нуждаются в вооружении и дисциплине — «научные инструменты навязывают чувствам в равной мере исправление и дисциплину. В этом отношении дисциплина, навязываемая такими устройствами, как микроскоп и воздушный насос, была аналогична дисциплине, навязанной чувствам разумом. Одних чувств было недостаточно, чтобы составить правильное знание, но дисциплиниро-

ванные чувства гораздо лучше подходили для этой задачи» [Shapin and Schaffer, 1985, p. 37].

Вооруженные экспериментальными приборами и дисциплинированные чувства открывали доступ, с одной стороны, к «подлинным фактам» (matter of fact), поскольку могли извлекать знание непосредственно из природы, а с другой стороны — к социальному согласию, так как позволяли добиться соучастия в экспериментальном знании (потенциально) всех членов сообщества. Проблемой при этом оказывалось обеспечение соучастия, поскольку сделать всех свидетелями в точном смысле этого слова на практике не представлялось возможным. Решение этой проблемы Бойль видел в «технологиях» производства фактов — «материальной» (устройство прибора), «литературной» (язык описания) и «социальной» (правила научного сообщества) [Shapin and Schaffer, 1985, p. 25]. Материальная технология позволяла воспроизводить (делать устойчивыми) экспериментальные факты и предъявлять их (потенциально) неограниченному количеству свидетелей. Социальная технология гарантировала надежность имеющихся свидетельств и свидетелей, позволяя принять на веру их свидетельство так же, как показания благонадежного свидетеля принимаются за истину судом. Литературная технология — самая важная, по оценке Шейпина и Шеффера — являлась инструментом «виртуального свидетельства»: при правильно построенном описании эксперимента обеспечивается «создание в разуме читателя такого образа экспериментальной сцены, который устраняет необходимость и непосредственного свидетельства, и повторения» [Shapin and Schaffer, 1985, p. 60].

Так как экспериментальные факты извлекаются непосредственно из природы и закрепляются коллективным свидетельством, «экспериментальный путь» к знанию задает и эпистемологию согласия: этос и методология эксперименталистов являются эталоном политической практики — «согласие достижимо как всеобщее свидетельство по поводу воспроизводимых и поддерживаемых дисциплиной строгого метода фактов, которые в этом качестве являются уже не просто фактами (facts), а самой реальной действительностью (matters of facts) — как говорил герой фильма “Тот самый Мюнхгаузен”, “это больше, чем факт, — так и было на самом деле”» [Вархотов, 2020а, с. 186].

В свою очередь, по мнению Гоббса, экспериментальные факты Бойля в отсутствие фундаментального теоретического (рационального) объяснения оставались всего лишь частными опытами — мнениями (beliefs), культивируемыми маленьким сообществом сектантского типа (Лондонским королевским обществом). И если для Бойля основой согласия должна была стать специфическая практика свидетельства, замыкающаяся на воспроизводимые источники чувственных данных и персональный опыт наблюдателя, то для Гоббса такой путь представлялся изначально тупиковым, и в основу согласия должно быть положено то, что действительно является общим у всех людей — разум и поведение (behavior). «На этих основаниях Гоббс противопоставляет мнение поведению и разуму. И поведение, и разум находятся в открытом доступе: поведение — потому что оно видно всем; разум — потому что все люди обладают им и обладают в равной мере. Действия можно успешно контролировать, если это необходимо, с помощью принуждения» [Shapin and Schaffer, 1985, p. 105].

Экспериментальные факты не могут служить основанием социального согласия, потому что они ничего не объясняют и не предъявляют собственных причин, а также потому, что они принадлежат области частного, персонального знания («мнений»), а «любое общество, которое поддерживает индивидуалистические претензии в области знания, неизбежно впадет в хаос» [Shapin and Schaffer, 1985, p. 104]. Правила разума (например, аксиомы геометрии) и правила поведения, в равной мере «устанавливаемые» человеком (поскольку они специфичны для человеческого вида и в этом качестве являются предметом естественного согласия), — основа социального порядка, и дело философа не наблюдать и подговаривать других наблюдателей, а диктовать, основывая-

ясь на свойствах человеческой природы. Таким образом, для Гоббса основание согласия следовало искать не в лежащей «снаружи» природе, а в природе человека.

Итогом споров Бойля с противниками и его методологической борьбы с трудностями создания трех «технологий» обеспечения победы «экспериментальной философии» (которую Гоббс категорически отказывался признавать философией) стало, по версии Шейпина и Шеффера, понимание того, что победа «экспериментальной» эпистемологии зависит от гегемонии сообщества экспериментаторов: «Утверждение набора общепринятых фактов реальной действительности в пневматике требовало утверждения и определения сообщества экспериментаторов, которые работали на основе общих социальных соглашений: то есть эффективное решение проблемы знания было основано на решении проблемы социального порядка» [Shapin and Schaffer, 1985, p. 283].

В результате поиски оснований социального согласия привели Бойля и Гоббса через спор о статусе экспериментальных фактов к проблеме эпистемологии как таковой и завершились битвой за принципы организации интеллектуального сообщества и его взаимоотношений с системой политической власти. «Связь между средствами обеспечения согласия и установлением непрерываемого гражданского порядка была очевидна как для экспериментаторов, так и для Гоббса», — заключают Шейпин и Шеффер. «...технологии Бойля могли обеспечить установление согласия только в безопасном для экспериментальной практики социальном пространстве. Гоббс обрушивался на безопасность этого пространства, потому что это был очередной случай рассеечения власти, двойственного видения политической лояльности. Таким образом, споры между Бойлем и Гоббсом стали вопросом защиты определенных социальных границ и интересов, которые они выражали» [Shapin and Schaffer, 1985, p. 283].

Оставив за скобками «либеральный эпилог», которым Шейпин и Шеффер завершают свой труд — «открытое и либеральное общество было естественной средой обитания науки, понимаемой как поиски объективного знания», которое «в свою очередь, являлось одной из гарантий продолжения открытого и либерального общества» [Shapin and Schaffer, 1985, p. 343], — отметим, что после «научной революции» на смену всеобщему беспокойству об основании согласия пришла догматика победившего экспериментального проекта. В результате даже современные дискуссии о социальных основаниях науки неизменно рассматривают ее «социальную природу» как некоторую данность, а не как задачу, которую поколению Бойля и Гоббса еще нужно было решить [Hacking, 1991].

В заключение еще раз подчеркнем два ключевых тезиса, которые мы попытались раскрыть и обосновать в этом разделе:

1) В работе С. Шейпина и С. Шеффера «Левиафан и воздушный насос» представлена оригинальная и эвристичная гипотеза, согласно которой источником эпистемологических разрывов — в частности, «научной революции» XVII столетия — являются социальные катастрофы, разрушившие ценностные основания институционального порядка и заставляющие сообщество целенаправленно искать новые эпистемологические и моральные основания для социального порядка, — смена эпистемологии является своего рода естественной реакцией на очень глубокий социальный кризис, ставящий под вопрос основания порядка и коллективное выживание. Необходимо отметить, что сходную интерпретацию для истоков картезианской традиции и «научной революции» в континентальной Европе дает Л. М. Косарева, апеллируя, правда, к традиционным для классической истории науки факторам более общего характера и большей длительности [Косарева, 1989].

2) Радикальный кризис доверия к средневековой традиции и связанной с ней институционально-ценностной системе, спровоцированный Великой английской революцией, послужил началом поисков оснований общественного согласия. Именно вокруг этой задачи — найти в человеке и сообществе надежные основания социального порядка

ка — выстраиваются конкретные методологические проекты середины — второй половины XVII в. При этом ценность согласия как цели (социально-политической) и как основания (эпистемологического) оказывается тем общим фундаментом, который делает возможным синтез конкурирующих методологических программ и странное сосуществование экспериментализма (эмпиризма) и рационализма (трансцендентализма) в науке Нового времени.

Глава 9. О неоднозначности понятия «стиль» в отношении искусства и науки*

Несмотря на то, что понятие «стиль» давно укоренилось в сфере искусствоведения и приобрело довольно широкое распространение за два последних десятилетия в области истории и методологии науки, оно все еще представляется сложным и дискуссионным. Если в отношении к объектам художественного творчества понятие «стиль» не имеет единого определения, то в контексте истории науки и исторической эпистемологии понятие «стиль» вызывает целый ряд вопросов: в чем особенность понятия «стиль» в отличие от других, решающих задачу типологизации исторических форм научного познания («эпистема», «парадигма» и др.)? Какие смыслы или какие аспекты познавательной деятельности возможно выразить при помощи понятий «стиль научного мышления», «стиль научного рассуждения» и т. п.? В главе излагается позиция Р. Флека, который первым ввел понятие «стиль» в историко-научный лексикон, а также анализируются теоретические позиции основных исследователей понятия «стиль» в контексте развития научной деятельности (А. Кромби, Г. Бухдаль и Й. Хакинг). Все авторы сходятся в том, что понятие «стиль» в исследованиях науки позволяет рассматривать события и явления из сферы истории и методологии науки в широком общекультурном контексте, а также выявить определенные установки, свойственные западноевропейскому мышлению. Перспективы, которые открывает использование понятия «стиль» в исследовании историко-социальных вопросов научного познания, как нельзя лучше отвечают задачам современной исторической эпистемологии.

Ключевые слова: стиль, стили научного мышления, современная историческая эпистемология, социокультурный контекст, история науки, стиль в науке.

В последние десятилетия предыдущего столетия в контексте историко-научных и философско-научных рассуждений приобрело актуальность понятие, относящееся по преимуществу к области изобразительного искусства, архитектуры и музыки, а также довольно популярное в области спорта, — понятие «стиль». Происходящее от греческого *stylos*, палочки или прутика для письма, понятие «стиль» восходит к античности, где оно имело значение специфического способа выражения реальности в живописных, музыкальных, литературных и проч. образах. Так, например, в третьей главе «Риторики» Аристотель определяет стиль как способ словесно выражать предметы.

Надолго забытое понятие «стиль» оказывается вновь востребованным в эпоху Ренессанса и в Новое время. Использованное сначала в «Трактате об архитектуре» А. Филарете (ок. 1465), а затем в сочинении Дж. П. Беллори «Жизнеописания современных живописцев, скульпторов и архитекторов» (1672) понятие «стиль» постепенно приобретает статус отдельной эстетической категории, одно за другим заменяя собой термины «тип», «манера», «модус» и тому подобные. В область изучения архитектуры и теории искусства в середине XVIII столетия понятие «стиль» было введено И. И. Винкельманом.

Значение понятия «стиль» для понимания логики развития искусства трудно переоценить. Его подчеркивают такие видные теоретики искусства, как Г. Вёльфлин,

© Ю. В. Шапошникова

* Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-011-00281 А «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы».

А. Ригль, Э. Кон-Винер, Э. Гомбрих, И. Тэн и целый ряд других. Однако делают они это по-разному. Одни авторы выделяют формальную характеристику стиля (Вёльфлин, Ригль), другие настаивают на цикличности сменяемости стилей в истории (Кон-Винер), третьи акцентируют внимание на индивидуализирующих (Гомбрих) или обобщающих (Ригль, Фосийон) свойствах данного понятия.

Знание стиля, считает С. Росс, является обязательным условием для правильного понимания и оценки художественного произведения [Ross, 2003, p. 228]. «Стиль — это определенный, а потому узнаваемый способ, каким совершено действие, произведен артефакт или должно быть совершено действие и произведен артефакт», пишет Э. Гомбрих [Gombrich, 1968, p. 352]. Однако указанная определенность может быть двоякого рода. С одной стороны, в исследованиях искусствоведов, теоретиков культуры, философов, лингвистов с незапамятных времен в качестве определяющей черты стиля подчеркивалась всеобщность. Словарные статьи наперебой говорят о стиле как о совокупности признаков и черт, создающих целостный образ искусства определенной эпохи или направления. Согласно некоторым исследователям, исходное свойство стиля объединять, задавать единство и придавать целостность даже позволяет говорить о его бессознательном характере [Harwood, 1986, p. 177; Mößner, 2011, p. 364]. С другой стороны, стиль всегда индивидуален, о чем свидетельствует знаменитый афоризм Ж. Бюффона «Стиль — это человек», и подчас именно своеобразие художественных методов какого-нибудь одного художника закладывает в истории искусства основу стиля. В любом случае, задает ли стиль только форму, или также определяет и содержание, выражает ли индивидуальность художника, или его причастность к культурному и историческому целому, стиль — это то, что маркирует и идентифицирует.

В отношении к науке история употребления слова «стиль» в качестве специального понятия начинается с Л. Флека. Именно он в 1935 году своей работой «Возникновение и развитие научного факта: введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива» ввел термин «стиль» в философский и историко-научный лексикон [Fleck, 1979]. Некоторое время это понятие не было востребовано в историко-научном контексте, хотя идея неоднородности развития научного знания была подхвачена, и возник еще ряд понятий, характеризующих эту неоднородность: «парадигма» (Т. Кун «Структура научных революций», 1962), «эпистема» (М. Фуко «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук», 1966), «научно-исследовательская программа» (И. Лакатос «Методология исследовательских программ», 1970) и др. Своего рода ренессансом понятия стиля в историко-научном контексте стало объемное исследование А. Кромби «Стили научного мышления в европейской традиции», вышедшее в Лондоне в 1994 году [Crombie, 1994]. Работа вызвала широкий резонанс, нашла сторонников и продолжателей. Таким образом, по выражению Дж. Харвуда, «Понятие стиля было изобретено в истории искусства с целью зафиксировать культурные паттерны, однако этот термин доказал свою значимость также для историков и социологов науки [Harwood, 1993, p. 9].

Флек использовал понятие «стиль» в следующем контексте: «Концепции (conceptions) не являются логическими системами, как бы они ни претендовали на этот статус. Они суть стилизованные единицы, которые либо развиваются, либо отмирают как есть, либо вливаются вместе со своими доказательствами в другие. По аналогии с социальными структурами, каждая эпоха имеет свои собственные доминирующие концепции, как и остатки прошлых, и рудименты будущих. И одной из наиболее важных задач сравнительной эпистемологии является выяснение того, как концепции и смутные идеи переходят из одного стиля мышления к другому» [Fleck, 1979, p. 27–28]. Подобным рассуждением Флек демонстрирует свой отказ представлять историю науки в качестве непрерывной последовательности логически необходимых систем мышления, но вводит понятие из области искусства, чтобы, с одной стороны, показать динамический и даже в некотором смысле непредсказуемый характер путей развития научных взглядов, а с другой — подчеркнуть типологическое своеобразие форм, в которые эти взгля-

ды на время кристаллизуются, а затем сменяются другими. Флек описывает введенное им понятие стиля мышления как «полноту интеллектуальной готовности видеть и действовать каким-то одним и никаким другим образом» [ibid., p. 64].

В высказывании «полнота интеллектуальной готовности видеть и действовать каким-то одним образом» нет случайных слов. «Готовность» говорит о настрое, «полнота» о целостности и единстве, наконец, готовность «видеть и действовать» указывает на ключевые составляющие всякого стиля. Приступая к рассуждению о стилях научного познания, Герд Бухдаль сравнивает их с художественными. Он пишет: «Искусство не является просто репрезентативным», но как в творческом процессе, так при наслаждении художественным произведением мир каким-то образом представлен им, или «виден», с той или иной точки зрения [Buchdahl, 1993, p. 149]. Бухдаль подчеркивает, что во всяком художественном произведении заслуживает внимания не та или иная деталь предмета, изображенная на холсте или высеченная в камне, а тот факт, что в своих работах автор выражает свое видение мира. На это же «видеть и действовать» указывает Р. Флек.

Стиль, поясняет Бухдаль, это о том «как», а не о том, «что» изображается, и далее подчеркивает, что стили определяются своими методологическими подходами, «почти идеологическими» различиями, которые имеют под собой «почти метафизические» основания [ibid., p. 153–154]. Стиль, пишет Бухдаль, есть «способ видения вещей» [ibid., p. 149]. Заметим, что и И. В. Гёте в работе «Простое подражание природе, манера, стиль» (1789) говорил о стиле как о «познании сущности вещей», таким образом отличая его от «манеры». Для него наличие стиля в искусстве предполагает наличие определенного понимания и истолкования сущего. Но верно ли данное утверждение в отношении всех теоретиков понятия «стиль» в науке?

Стили в историко-научных исследованиях многообразны. Согласно Кромби [Crombie, 1994], существует 6 стилей научного мышления. Перечислим их, пользуясь трактовкой Хакинга: 1) простой метод постулирования, примером которого является математическая наука античной Греции; 2) проведение эксперимента как с целью контролировать постулирование, так и для исследований при помощи наблюдения и измерения; 3) гипотетическое конструирование аналогичных моделей; 4) подчинение множества путем сравнения и таксономии; 5) статистический анализ закономерностей народонаселения, а также анализ вероятностей; 6) историческое происхождение генетического развития. К указанным шести Хакинг добавляет еще три: стиль, представляющий собой синтез (1) и (2) для области математической науки; лабораторный стиль, являющийся синтезом стилей (2) и (3); а также алгоритмический стиль [Hacking, 1994, p. 34]. Стили, выделенные Куа, близки списку Кромби, но не повторяют его. Они таковы: дедуктивный (происходящий из Средневековья), экспериментальный (Ренессанс, алхимия), аналитико-гипотетический (предполагающий аналогию между природой и техникой), таксономический, статистический и эволюционный [Kwa, 2011]. Г. Бухдаль формулирует три стиля: эмпирический, рационалистический и системный [Buchdahl, 1993].

Помимо упомянутых стилей, фиксирующих определенный метод или подход к познанию, различные исследователи выделяют стили, связанные с характером мышления того или иного ученого или философа. Так появляются такие понятия, как «ньютоновский стиль» (И. Б. Коген) или, например, «галилеевский стиль». Хакинг обнаруживает упоминание понятия «галилеевский стиль» у Н. Хомского и космолога С. Вайнберга в значении «создания в физике абстрактных математических моделей Вселенной». И хотя оба исследователя, прибегая к этому понятию, ссылаются на Э. Гуссерля, последний, как показывает Хакинг, наделяет данное выражение совсем иным содержанием, а именно связывает его с «эмпирически воспринимаемым миром» [Hacking, 1994, p. 31]. Подобная путаница свидетельствует о необходимости выделить критерии для

объявления того или иного модуса мышления «стилем» научного мышления и, в частности, исходить из типа мышления, а не той или иной исторической фигуры.

Как в искусствоведении, так и в истории и методологии науки стиль может быть понят и как специфический и индивидуальный, и как обобщающий и универсальный. Но если в искусстве авторский стиль равноправно сосуществует со стилем социальной или творческой группы, то в отношении истории научного знания, во избежание двусмысленности и вышеописанных неточностей, предпочтителен генерализирующий подход. Стили не должны определять содержание и ограничиваться какой-то одной наукой.

Впрочем, есть примеры того, как исследователи говорят о «стилях» именно в контексте решения определенной задачи, либо в рамках одной области науки. Так, например, К. Гавроглу в статье, посвященной анализу стилистических различий, обсуждал стили научного мышления, используя примеры двух конкретных лабораторий, работающих в области физики низких температур, а именно лаборатории в Лейденском университете под руководством Х. Камерлинг-Оннеса и лаборатории в Королевском институте Великобритании под руководством Дж. Дьюара [Gavroglu, 1990, p. 53]. Тем самым два подхода к решению частной задачи были отождествлены со стилистическими единицами, призванными определять характер научного мышления.

Сходным примером является статья П. Пеллегрини «Стили мышления в споре о дрейфе материков» [Pellegrini, 2019], в которой в качестве стилей мышления автор выделяет «фиксизм» и «мобилизм», указывающих лишь на определенные позиции исследователей в вопросе о наличии движения материков. Подобный подход не апеллирует ни к каким другим социальным или культурным явлениям и, следовательно, во-первых, не позволяет вписать указанную геологическую проблему в целостный общекультурный контекст, а во-вторых, выделить характерные вневременные мыслительные формы.

В этом смысле для определения понятия «стиль» представляется ключевым замечание Харвуда о том, что «паттерны мышления или практик, для распознавания которых стиль выступает в качестве аналитического инструмента, присутствуют в *различных* формах культурной деятельности» [Harwood, 1993, p. 9]. Таким образом, понятие должно отвечать еще одному требованию: называть «стилями мышления» только те подходы к решению научных задач, когда они имеют общенаучную и общекультурную коннотацию.

К перечисленным требованиям, служащим критериями признания интеллектуальных форм стилями научного мышления, Хакинг добавляет следующие: 1) стили независимы от истории своего возникновения [Hacking, 1994, p. 40]; 2) каждый из стилей рассуждения делает возможными появление новых сущностей: объектов, доказательств, утверждений, законов (или по меньшей мере модальностей), возможностей, способов классификации и объяснения [ibid., p. 40–41]. В этом смысле стили буквально задают новую онтологию [Hacking, 1994, p. 41; Бухдаль, 1993], поскольку, если и не приводят к бытию новые объекты, то несомненно направляют внимание на то, что прежде оставалось незамеченным; 3) стили задают истинность утверждений, поскольку выступают принципами объективности [Hacking, 1994, p. 43]; 4) стиль рассуждения обладает определенным набором само-стабилизирующих техник [ibid., p. 44]. Благодаря этим техникам, стиль сохраняет свою неповторимость и индивидуальность. 5) В исследовании могут одновременно применяться сразу несколько стилей. Так, например, «современный синтез» эволюционной теории помимо прочего является синтезом таксономического и историко-генетического мышления [ibid., p. 35].

В определении понятия «стиль» применительно к области искусства до сих пор нет согласия. Столь же непроясненным остается и понятие «стиль научного мышления» [Порус, 1994, с. 64]. Некоторые исследователи предпринимают попытку более точно определить смысл данного понятия, исходя из характера его употребления, ука-

зывая две альтернативы: акцентирование методологической стороны, либо связывание понятия стиля с научной картиной мира [Поздняков, 2014, с. 192]. В целях прояснения понятия стиля и обнаружения его своеобразия, некоторые историки науки сопоставляют его с другими понятиями, некогда введенными для типологизации исторических форм развития науки, например, с куновским понятием «парадигма» [Микешина, 1977, с. 64; Mößner, 2011] или с понятием «научно-исследовательская программа» Лакатоса [Андрюхина, 1984]. И действительно, введение понятия «стиль» в контекст исследований науки при уже «пустивших корни» понятиях «эпистема», «парадигма», «научно-исследовательская программа», «типы научной рациональности», «научный дискурс» и других требует серьезного обоснования, а также ответа на вопрос, в чем со стоит принципиальное своеобразие «стилевой типологизации» в деле упорядочения историко-научного материала? Кстати, заметим, что и в искусствоведении, и в теории культуры имеются понятия, «соперничающие» с понятием «стиль»: «исторический тип культуры», «художественное направление», «эстетическая программа».

Понятие стиля происходит из внешней науке области. Принято считать, что целью искусства является оригинальное выражение, тогда как наука стремится к объективности. Однако именно благодаря внешнему заимствованию в исследовании развития научного знания возникает потенциал к открытию более широкого горизонта понимания. По выражению Крёбера, «Стиль — характеристика всюду проникающей формы (Gestalt)» [Kroeber, 1957, р. 3]. Речь идет о культурном и социоисторическом горизонте рассмотрения сути и закономерностей возникновения явлений и событий в истории развития научного знания. В понятии стиля, так же, как и в понятиях «парадигма» и «эпистема» содержится потенциал выхода из представления о науке как о непрерывно и равномерно развивающемся феномене. Более того, в «Новейшем философском словаре» приводится определение, согласно которому стиль есть «исторически сложившаяся совокупность регулятивов, идеалов и норм», а по утверждению Й. Хакинга, стиль является критерием, который задает стандарты объективности и типы ответов [Hacking, 1992, р. 13]. Таким образом, стиль не только не предполагает субъективности и индивидуализма, но и выступает в качестве регулятивной инстанции.

«Стиль — структурное образование», — пишет Устюгова, — «обеспечивающее ценностную связь научного познания с другими сферами деятельности, с культурным целым» [Устюгова, 1984, с. 128], недаром О. Шпенглер называет стиль «душой культуры» [Шпенглер, 1998]. И все же из всех сходных со стилем понятий, пожалуй, лишь «эпистема» Фуко обладает указанной культурной основательностью и целостностью, поскольку прежде всего указывает на культурные и исторические аспекты познавательных установок [Керимов, 2015, с. 795–796]. Понятие «парадигма» у Куна касается внутринаучных процессов, но взятых в широком масштабе. Стиль же представляется наиболее инструментальным и методологическим из всех «родственных» ему понятий.

Рассмотрим пример. При вычислении окружности земли Эратосфен допускает погрешность, будучи убежден, что Земля, подобно любому другому «совершенному» небесному телу, шарообразна. Тем самым, производя измерения углов падения солнечных лучей и расстояний между колодцем в Сиенне и Александрией (экспериментальный стиль), он исходит из некоторой теоретической предпосылки (постулирование). Греческая мысль изобиловала аксиомами: «Подобное стремится к подобному», «природа не терпит пустоты», небесные тела совершенны и потому шарообразны или вращаются по круговым орбитам. Таким образом, понимание бытия как природы античными учеными и мыслителями задавало определенный образ мышления (эпистему) и, соответственно, *стиль* рассуждения и логику построения доказательств (парадигму). Таким образом, общекультурный пласт греческого мировосприятия оказывал непосредственное влияние на результаты научных исследований. И наоборот. Справедливо замечание о том, что «теоретический горизонт каждой культуры ограничен свойственным ей стилем мышления» [Ивин, 2011, с. 25], или, как поясняет Хакинг мысль Флека,

«Denkstil делает возможными одни идеи и невозможными другие» [Hacking, 1994, p. 33]. Но верно и обратное: стили мышления и рассуждения сами формируются внутри общекультурной ситуации.

Проблема осмысления содержания и назначения понятия «стиль» применительно к науке осложняется разногласиями среди самих историков и методологов науки. Л. Флек, А. Кромби и Г. Бухдаль указывали на востребованность понятия «стиль» главным образом «для всякой рефлексии об *историческом* измерении науки, как в отношении ее содержания, так и в том, что касается методологических оснований» [Buchdahl, 1993, p. 149]. Однако Хакинг предложил отказаться от исторического контекста и взглянуть на стили как на универсальные подходы к научному дискурсу. Для Кромби, Бухдаля и Куа перечисленные ими стили мышления неразрывно связаны с историческими эпохами их возникновения. Так в списке Кромби даже последовательность перечисления стилей не случайна, а продиктована хронологическим порядком их появления на свет. Для Хакинга же очевидно, что стили, хотя и возникли в определенных исторических условиях и появились на свет в контексте интеллектуального творчества того или иного мыслителя, во всяком случае, согласно мифам об их зарождении, живы до сих пор и, более того, их список может пополняться.

В отличие от Кромби, сделавшего центральным понятием своего трехтомного исследования «стиль научного мышления», Й. Хакинг предпочитает понятие «стиль научного рассуждения», смещая акценты таким образом, чтобы указать на публичность процессов формирования новых образов мысли в науке. Он подчеркивает, что его в наибольшей степени интересует не метафизика, которой в понятии, используемом Кромби, «слишком много», а «публичность» стилей, в том смысле, в каком Кант говорил о научном разуме как об историческом и общественном достоянии. Стили, пишет он, также «являются частью того, что требуется нам для понимания того, что на Западе называется объективностью» [Hacking, 1994, p. 34].

Кромби называл свое исследование о стилях «сравнительной исторической антропологией мышления». Хакинг же говорит о философской технологии, под которой подразумевает «изучение способов, посредством которых стили рассуждения производят устойчивое знание и становятся не открывателями объективной истины, а скорее стандартами объективности» [ibid., p. 46].

Отличительные черты понятия «стиль научного мышления», несмотря на отсутствие полной ясности и единодушия теоретиков в отношении его содержания, отвечают интересам набирающей силу в последние несколько десятилетий тенденции современной исторической эпистемологии рассматривать науку в широком историческом и социальном контексте. И если понимать задачу исторической эпистемологии как «историческое обращение к научным практикам» [Шиповалова, 2018b, с. 13] с целью обнаружения значения базовых научных понятий и ценностей, а также прояснения мировоззренческих проблем научных исследований, то понятие «стиль научного мышления» представляется одним из важнейших инструментов в арсенале этой сравнительно новой, но уже не раз доказавшей свою перспективность дисциплины.

Глава 10. Между миром и человеком: некоторые аспекты изучения феномена цвета*

Феномен цвета еще со времен античности понимался как находящийся между видящим и видимым, и вопрос заключался в том, чтобы выразить характер этого промежуточного отношения. Феномен цвета в философии и истории науки эксплицируется в двух аспектах: 1) в контексте теории цвета и осознания сущности феномена цвета как такового (Аристотель, Ньютон, Гёте, Иттен и др.); 2) в рамках отчасти научной и отчасти технологической задачи изобретения и изготовления красок. В главе утверждается, что как в гуманитарном, так и в естественно-научном аспектах проблема цвета в ходе своего исторического развития «гуманизируется». В том, что касается теоретического осмысления феномена цвета, внимание исследователей с чисто физического и даже механического объяснения природы цвета, начиная с оптических исследований Гёте, переключается на проблему человеческого восприятия. С другой стороны, изобретение и производство красок, изначально движимое экономическими и политическими факторами и использующее человека лишь в качестве механизма в производственной цепи, также в корне преобразуется в результате изменения общественного взгляда на ценность человеческой жизни и здоровья. Изменения в характере проблематизации феномена цвета в интеллектуальной истории позволяют исследователю подлинно междисциплинарный взгляд. Изучение феномена цвета объединяет в себе естествознание, историю, социологию, психологию и философию, а также служит интереснейшим объектом осмысления в контексте исторической эпистемологии.

Ключевые слова: цвет, феномен цвета, теория цвета, цветовосприятие, историческая эпистемология, Пастуро, производство красок, оптика, историческая трансформация.

Феномен цвета в истории науки может быть проблематизирован, по крайней мере, в двух направлениях: 1) теоретическом — как история и полемика различных метафизических интерпретаций феномена цвета, а также как ряд физических моделей, позволяющих объяснить природу данного явления (световые лучи, тончайшая телесная субстанция и т. п.), и 2) практическом — как история изобретения, изготовления и технологического усовершенствования красок. Первое направление ставит своей задачей осознание сущности феномена цвета, второе преследует практическую цель решения технологической задачи производства цвета как такового.

История теоретического осмысления природы цвета восходит к античности и связана с именами целого ряда выдающихся мыслителей древности: Демокрита, Платона, Аристотеля, Аристарха Самосского, Эмпедокла и др. На этом этапе рассуждения о природе цвета основная полемика касается «внешнего», исходящего от самих вещей, или «внутреннего», производимого глазом, происхождения цвета. Сторонником первого взгляда, утверждающим «вхождение» образов в глаз извне, является Демокрит. Эмпедокл же убежден, что ощущение цвета есть результат столкновения или встречи истечений внешних (от видимых вещей к глазам) и внутренних (выходящих наружу огня и воды, заключенных в глазах). Аристотель, в свою очередь, не считает возможным объяснение процесса зрительного ощущения непосредственным чисто механиче-

© Ю. В. Шапошникова

* Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-011-00281 А «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы».

ским воздействием одного тела на другое и прибегает к понятию прозрачной среды. Для него цвет является качеством вещи, количеством света в ней, который воздействует на прозрачную среду, а затем воспринимается прозрачным глазом: «Количественное соотношение элементов модифицирует наполняющий твердые тела свет так же, как сами они (вернее, их окрашенные поверхности) модифицируют свет в неограниченных прозрачных средах. В результате наполняющий тела свет превращается из простого света в цветоносное сияние, т. е. приобретает определенный цветовой оттенок, который тем светлее, чем больше в теле огня, и тем темнее, чем больше там земли» [Месяц, 2013, с. 37].

В контексте средневекового мировосприятия феномен цвета и его сущность стали предметом размышлений епископа Р. Гроссетеста, Бонавентуры, а также сделались неотъемлемым атрибутом мистических описаний Хильдегарды фон Бинген и Мехтильды Магдебургской. В эту эпоху свет, так же, как и в античности, считался первой из сотворенных и самой совершенной формой телесности, а также единой субстанцией для всех творений. Согласно такому миропониманию, как поясняет У. Эко, «из вселенского света через последовательные разрежения и сгущения образуются астральные сферы и зоны природных элементов, а следовательно, и бесконечные оттенки цветов, и механико-геометрические объемы вещей» [Эко, 2003, с. 68].

В рамках новоевропейской традиции основными авторитетами в области изучения природы цвета и его свойств являются, безусловно, И. Ньютон и И. В. Гёте. В 1672 году Ньютон издал трактат «Новая теория света и цветов», в котором изложил результаты своих исследований разложения светового луча в спектр при помощи призмы. Открытие Ньютона состояло в том, что «модификация света, от которой происходят цвета, врожденна свету... <...> и не может быть разрушена или каким-либо способом изменена» (цит. по [Вавилов, 1989, с. 48]). В свете сделанного открытия рассуждения предшественников, как античных, так и современных, оказывались ошибочными в предположении о том, что «модификация света, проявляющего отдельные цвета, не свойственна ему по происхождению его, а приобретает при отражении или преломлении» [там же]. Считать, как это делали перипатетики, цвета качествами самих тел и выводить из них происхождение этих цветов, также неверно, считал Ньютон, как и полагать, что лучи света не обладают собственными свойствами, а порождаются различными произведенными над ними действиями. Ньютон также пришел к выводу, приобретшему фундаментальное значение для науки о цвете: «Цвета относятся к физике, и науку о них следует почитать математической, поскольку она излагается математическим рассуждением» [там же, с. 49].

И. В. Гёте, посвятивший исследованию цвета более 40 лет своей жизни и считавший открытия в этой области своим главным достижением, во многих аспектах пересмыслил и оспорил подходы и интерпретации Ньютона. Он не только открыл феномены физиологических, физических и химических цветов, но и установил отношение учения о цвете к физике, математике, физиологии и философии, а также указал на нравственно-эстетические аспекты воздействия цвета на человека [Месяц, 2012, с. xix]. С его легкой руки феномен цвета перестал быть предметом, требовавшим исключительно «внешнего» физического или, в случае Ньютона, механического объяснения и истолкования, но сделался проблемой, во-первых, лежащей на стыке различных дисциплин, а во-вторых, относящейся к кругу «внутренних» проблем человеческой природы.

В XIX веке проблема цвета получила широкое распространение. Работа Гёте «К теории цвета» была издана в 1810 году, и в том же году опубликовал своё учение о цвете Ф. О. Рунге. В 1816 году вышел в свет трактат А. Шопенгауэра «Зрение и цвет», а в 1839 году была опубликована работа М. Э. Шеврёля «О законе симультанного контраста цветов и о выборе окрашенных предметов», послужившая, как указывает И. Иттен, «основой импрессионистической и неоимпрессионистической живописи» [Иттен,

2014, с. 20]. Над разработкой теории цвета трудились Э. Делакруа, П. Сезанн, В. Кандинский и многие другие художники и ученые.

В XIX веке приобрела особую актуальность задача систематизации цветового многообразия цветов, имевшая важное значение не только для теоретического осмысления, но и для промышленности. Ф. О. Рунге ввел в качестве координирующей системы цветовой шар. Но наиболее подробная систематизация была создана все-таки в XX веке и связана она была с именем И. Иттена. Так в 1961 году была опубликована его книга «Искусство цвета», а спустя несколько лет вышло ее второе издание с расширенным и говорящим названием «Искусство цвета. Субъективное восприятие и объективное познание как путь к искусству. Учебный курс». Работа представляла собой компендиум физических, химических и физиологических знаний о природе цвета. Однако ее подлинной целью было образование и развитие «цветовой культуры», культуры восприятия и творческого воплощения. Иттен видел свою задачу следующим образом: «Понятие цветовой гармонии должно быть изъято из области субъективных чувств и перенесено в область объективных закономерностей» [Иттен, 2014, с. 36]. Опираясь на открытия Гёте и используя данные физиологии, он формулировал правила цветовой гармонии так, как формулируют научные законы. По сути дела, его исследование и является примером научного подхода, только, в отличие от Ньютона, предметом его исследования была не природа цвета как таковая, а система сбалансированного сочетания цветов в восприятии человека.

Иттен отождествил субъективное понятие «гармонии» с более объективным понятием «порядка» и нашел способ систематизировать порядок сочетания всех возможных цветов. Взяв за основу закон пигментных цветовых смесей, он создал универсальную цветовую теорию и одновременно практическое руководство для художников, знаменитый двенадцатичастный цветовой круг, схему взаимного сочетания цветов и их контрастов. Кроме того, несколько глав книги он посвятил вопросам символического значения цвета, а также разнообразию и особенностям эмоционального воздействия цвета.

Как известно современной науке, для каждого цвета спектра характерна определенная длина волны и соответственная частота колебаний. При этом сами по себе световые волны не имеют цвета. Цвет возникает в результате восприятия этих волн глазом и интерпретации мозгом. Восприятие цвета связано с работой находящихся на сетчатке глаза фоточувствительных клеток — колбочек, которые бывают трех типов и различаются по чувствительности к световым волнам разной длины — 440, 530 и 560 нм. Одни клетки восприимчивы к длинным волнам, другие к средним, а третьи к коротким и, соответственно, отвечают за восприятие красного, синего и зеленого цветов.

Правда, вопреки предположению древних, предметы определенного цвета не пропускают волны соответствующей длины, а напротив, поглощают все волны, кроме тех, которые будут уловлены сетчаткой глаза и, соответственно, задающих их цвет. Как поясняет Иттен, «когда мы говорим: “эта чашка красная”, то мы на самом деле имеем в виду, что молекулярный состав поверхности чашки таков, что он поглощает все световые лучи, кроме красных. Чашка сама по себе не имеет никакого цвета, цвет создается при ее освещении» [Иттен, 2014, с. 32]. Но если работа колбочек нарушена, то цвет восприниматься не будет. Впрочем, даже «нормальное» цветовосприятие, как продемонстрировал появившийся в соцсетях в 2015 году тест на определение цвета платья (для половины опрошенных черно-синего и бело-золотого в восприятии другой половины), не гарантирует единства в интерпретации цвета [Сен-Клер, 2018, с. 14–15].

Параллельно с теоретическими изысканиями и не менее, а возможно, и более продолжительное время развивалось практическое направление цветоведения — разработка природных источников цвета, а также поиски искусственных заменителей дорогостоящих в силу редкости и трудности их получения естественных красителей, и как следствие, изобретение химического состава и производство красящих веществ. Разви-

тию этого направления во многом послужили восходящие к древности наблюдения из области минералогии и ботаники, изыскания алхимиков, а также исследования ученых-химиков в эпохи Нового и Новейшего времени. Как свидетельствуют работы К. Сен-Клер «Тайная жизнь цвета», 2018 [Сен-Клер, 2018], В. Финлей «Естественная история палитры», 2004 [Finlay, 2004] и еще ряд других, практически за каждым пигментом на палитре современного художника стоит целая богатая событиями и весьма авантюрная история.

Рассмотрим в качестве примера историю изобретения зеленого пигмента шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле в 1775 году. Цвет, полученный Шееле, был похож на цвет зеленого горошка и сразу же сделался весьма популярен. Он применялся в пищевой промышленности, например, для окрашивания кондитерских изделий, при производстве бумаги, а также для окраски тканей, как для пошива одежды, так и для изготовления обоев и обивки мебели. Пигмент пользовался огромным спросом и, согласно данным лондонской газеты «Таймс», в 1863 году было произведено от 500 до 700 тонн этого пигмента. Но «когда показалось, что этот аппетит к зелени не насытит уже никогда» [Сен-Клер, 2018, с. 225], появились слухи о смертельных отравлениях. И не случайно. Основным компонентом знаменитого пигмента был гидроарсенид меди, то есть соединение мышьяка, токсичный канцероген. Пигмент выделял пары мышьяка в сухом воздухе, а во влажной среде яда становилось еще больше. Надо заметить, что свойства мышьяка уже были хорошо известны, так как данное вещество активно использовалось как крысиный яд. Только вот Шееле предпочел не раскрывать общественности состав красителя и сведений о его токсичности, хотя еще в 1777 году, через два года после совершенного изобретения, он делился в письме другу сомнениями на этот счет, добавляя, что другая его главная забота — чтобы кто-нибудь не опередил его, присвоив все почести и прибыль от продаж открытия. Но еще более любопытно, что даже после обнародования состава изобретенного Шееле пигмента, он продолжал производиться и продаваться на протяжении еще сорока лет, при этом не было принято никакого закона, запрещающего его использование.

Как теоретическое, так и практическое исследование цвета предполагают воссоздание более широкого контекста рассматриваемых проблем. Так Гёте в своем «Учении о цвете» утверждал, что историю теории цвета можно понять только в контексте всего естествознания в целом, поскольку чтобы понять малое, необходимо взглянуть в целое [Finlay, 2004, р. 4]. Г. Дойчер и Л. Витгенштейн, в свою очередь, указывают на неразрывную связь восприятия цвета с характером языка и традициями словоупотребления той или иной культуры и, как следствие, на необходимость изучения вопросов лингвистики для прояснения особенностей цветового восприятия. Чего стоят только хроматические открытия Гладстона в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, описанные Г. Дойчером в его «Сквозь зеркало языка» [Deutscher, 2011, р. 33–35], и насколько удивительны гомеровские описания моря и общий «цветовой диссонанс», пронизывающий обе поэмы: избегание слова «синий», «неуместное» и редкое использование «зеленого», эпитет «винноцветный» в отношении моря и полное отсутствие хроматических эпитетов в отношении неба. Гладстону, а вместе с ним и читателю, пришлось основательно переосмыслить своё представление о греческой культуре в целом, чтобы пусть и ошибочно, но все же логично объяснить феномен цветовой безграмотности в поэмах Гомера.

И всё же наиболее радикально, на наш взгляд, ставит задачу М. Пастуро, который предлагает рассматривать феномен цвета, не только исходя из достижений в области естественных наук своего времени, но и из социально-культурного контекста той или иной эпохи в целом, «одновременно в социальном, художественном и символическом аспектах» [Пастуро, 2019а, с. 8]. «История цвета», — повторяет Пастуро в предисловии к каждой из пяти книг серии «История цвета», — «это всегда история общества» [Пастуро, 2017, с. 9]. О чём, например, свидетельствует вышеприведенная история о зелени Шееле? О характере эстетических потребностей XIX века (высокий спрос на зеленый

цвет), об ангажированности науки экономическими отношениями (изобретение Шееле быстро приводит его к обогащению, и именно это обстоятельство удерживает его от раскрытия общественности состава пигмента), о практически полном отсутствии институтов, регулирующих моральную ответственность ученого и т. д.

Другим примером того, что изобретение и производство красок было вплетено в сложную цепь экономических и даже политических факторов общественной жизни, может служить исторический сюжет о британской блокаде Франции и последующем наполеоновском заказе на изобретение искусственного индиго, прежде поставлявшегося из английских колоний. Вследствие сложившихся обстоятельств (пигмент индиго требовался для окраски мундиров, но поставки его прекратились) Наполеон назначил премию в миллион франков и поставил на тот момент неразрешимую задачу получить индиго из отечественного сырья, которая, тем не менее, привела к целому ряду полезных открытий в области производства красок.

Говоря о глобальных изменениях в области исследования цвета и красящих веществ, на наш взгляд, следует не забывать о так называемом «гуманистическом» повороте. Что касается теоретического исследования цвета, то начиная с работ Гёте, происходит смещение фокуса внимания с проблемы цвета как чисто физического явления к изучению особенностей человеческого восприятия цвета. В результате цвет в значительно большей степени становится проблемой психологии и физиологии, чем физики и философии [Gage, 1993]. Иттен в своих исследованиях продолжает работать в русле воздействия цвета на субъективность и размышлять о природе человека и мира. Цветовое воздействие оказывается неотъемлемой чертой теории цвета. Обратим внимание на пафос, с которым Иттен пишет о цвете в своем в целом довольно наукообразном сочинении: «Цвет — это жизнь, и мир без красок представляется нам мертвым. Цвета являются изначальными понятиями, детьми первородного бесцветного света и его противоположности — бесцветной тьмы. Как пламя порождает свет, так свет порождает цвет. Цвет — это дитя света, и свет — его мать. Свет, как первый шаг в создании мира, открывает нам через цвет его живую душу» [Иттен, 2014, с. 12] и далее: «Только тому, кто любит цвет, открывается его красота и внутренняя сущность. Цветом может пользоваться каждый, но только беззаветно преданным ему он позволяет постичь свои тайны» [Иттен, 2014, с. 27].

Сходный гуманистический сдвиг претерпевает и практическое направление изучения цвета. Социальные изменения, связанные с переосмыслением положения человека в обществе, достоинства личности и ценности здоровья, радикальным образом повлияли и на изменение в практике производства красок, переориентированной на рубеже XIX–XX веков в направлении облегчения рабского труда, снижения рисков для здоровья на производстве и замены ядовитых веществ на более безвредные (приведшей, например, к вытеснению производства свинцовых белил цинковыми, а затем и титановыми; отказ от зелени Шееле, или швейнфуртской зелени, в пользу более качественных зеленых пигментов) и проч.

Итак, изменения в культуре и социуме накладывают отпечаток на характер интерпретации феномена цвета и динамику создания красящих веществ. Но верно и обратное: детальное осмысление проблемы цвета позволяет пролить свет на целый ряд общественно-исторических явлений XIX и XX веков.

Как демонстрирует целый ряд работ последних лет по нашей тематике, проблему цвета возможно эксплицировать посредством рассмотрения ряда примеров (кейсов), имеющих форму историко-научного повествования, изобилующего легендами и историческими анекдотами. «Тайная жизнь цвета» Кассии Сен-Клер [Сен-Клер, 2018], подробно повествующая как о технической стороне производства красок, так и о биографических подробностях из жизни художников, «Красное, желтое, синее» А. Владимирова и Н. Осипова [Владимиров, Осипов, 2017], изначально написанная для детей, но повествующая о целом спектре серьезных вопросов практического использования

красок и дополненная историческими сюжетами их изобретения и производства, увлекательная книга П. Балла «Яркая земля и изобретение цвета» [Ball, 2001], подробно проиллюстрированная «История цвета. Как краски изменили наш мир» Г. Эванса [Эванс, 2020] и, наконец, «Цвета нашей памяти» М. Пастуро [Пастуро, 2019b] бесконечно богаты материалом для историко-философского, историко-научного и историко-эпистемологического анализа.

М. Пастуро поднимает вопрос о том, что означают краски для исследователей из разных областей знания. Одно ли и то же цвета для физика и химика, для невролога и биолога? А как отличается восприятие цветов историками, социологами и антропологами? Он приходит к выводу, что «цвет “создается” не столько природой, пигментом, глазом или мозгом, сколько обществом, именно общество дает ему определение и смысл, оперирует его кодами и значениями, определяет области его применения и назначения» [Пастуро, 2019b, с. 316]. Можно размышлять о различных теориях цвета с физической и химической точек зрения. Но следует отдавать себе отчет в том, что этими теориями дело не только не ограничивается, но даже еще не намечается. Рассуждение о цвете в более широком социокультурном и историческом контексте — это и обращение к истории слов, и обнаружение культурных кодов, которые вписаны в предпочтения того или иного цвета властью или различными социальными институтами, ведь краски имеют свое значение и в сфере религии, и в спорте, и в национальных традициях. Не стоит забывать и о психологических инструментах, основывающихся на характере восприятия цветов и позволяющих установить уровень тревожности и склонность к неврозам (тест Люшера, тест цветowych пирамид Пфистера, тест Фрилинга).

Выше уже говорилось о том, что исследование природы цвета, начиная с античности, исходило из противопоставления смотрящего и воспринимающего цвет и цвета как внешнего объекта. Еще Аристотель в IV веке до нашей эры, а затем Гёте в XIX столетии задавались вопросом, продолжает ли цвет существовать, если на него никто не смотрит. Аристотель утверждал, что, будучи невидимым, цвет существует «потенциально» и становится «актуальным», когда оказывается в поле зрения глаза [Месяц, 2013, с. 29]. На вопрос, остается ли платье красным, если никто на него не смотрит, который Гёте задал себе в третьей части своего «Учения о цвете», он отвечал отрицательно. А М. Пастуро подчеркивает, что в этом согласен с ним [Пастуро, 2019b, с. 316]. Феномен цвета позволяет связать воедино естественнонаучные и социальные исследования, технологию и эстетику, историю и современность. А еще он связывает воедино человека и природу, субъективное и объективное.

В контексте современной исторической эпистемологии проблема цвета ясно демонстрирует, в какой степени наука вплетена в систему политико-экономических отношений и неотделима от социокультурных контекстов. А с другой стороны, современная историческая эпистемология, основным интересом которой как раз и является подход к историко-научным проблемам с учетом широкого культурно-исторического контекста, позволяет по-новому и широко взглянуть на проблему интерпретации феномена цвета в истории науки и культуры.

Глава 11. Медицинские теории и практики в контексте постпозитивистской философии науки*

Как взаимодействуют между собой естественнонаучные и социогуманитарные дисциплины? Возможен ли продуктивный диалог между философией науки и наукой? Мы попытаемся ответить на этот вопрос на примере отношений, которые устанавливаются между исторической эпистемологией и медициной. Сегодня мы наблюдаем возрастающий интерес постпозитивистской философии, истории и социологии науки к медицине. Для исторической эпистемологии биомедицинские науки, медицинская теория и практика выступают одним из наиболее предпочтительных объектов исследования. В чем заключается эпистемологическая уникальность медицины? Что медицина может рассказать историческому эпистемологу? Также задается вопрос о возможном обратном влиянии исторической эпистемологии на медицину: что может рассказать философ (исторический эпистемолог) врачу?

Ключевые слова: философия науки, медицина, историческая эпистемология, болезнь, концепт, стили мышления.

Диалог между философией науки и наукой

Представляется очевидным, что философия науки не может не интересоваться наукой, потому что последняя составляет предмет ее изучения. Что же касается естественнонаучных дисциплин, они вполне могут не проявлять выраженного интереса к философии, ибо их объект и предмет — природа, а не духовная культура. Следует признать, однако, что до относительно недавнего времени философия науки проявляла весьма особый интерес к объекту своего изучения — науке. Начиная со второй половины XX в. распространяется критика постпозитивизма в адрес предшествующей философии науки (позитивизма), которая утверждает, что философия науки интересовалась не столько наукой как таковой, сколько сконструированным образом науки, слишком абстрактным и далеким от реальности. Как полагают многие критики, даже если философы науки использовали реальные результаты науки (опубликованные тексты) в своих построениях, они делали это для того, чтобы подкрепить собственные теории, которые они заранее создали и считали правильными априори. Они (сознательно или бессознательно) не замечали тех результатов, которые не укладывались в прокрустово ложе их теорий. Один из самых резонансных критиков позитивизма Т. Кун обвиняет философов науки (логических позитивистов) в том, что они анализируют логическую структуру *готового* (законченного, кодифицированного в учебных пособиях) научного знания (контекст обоснования), пренебрегая его историей (контекстом открытия) [Кун, 1977, с. 182]. С похожими обвинениями выступает еще один авторитетный критик позитивизма, социолог науки Д. Блур. Философия науки, считает Блур (приводя в пример точку зрения И. Лакатоса), создает определенный образ науки, в основе которого лежит логическое оформление и математизация опыта. Зафиксировав этот образ, эту модель, как отвечающую подлинной науке, «философия науки становится тем теоретическим каркасом, внутри которого осуществляется вся последующая объяснительная работа» [Bloor, 1976, p. 6]. Дальнейшие исследования сводятся к тому, чтобы показать, что реальная наука выражает заранее принятые философами на веру принципы ее функционирования и развивается в соответствии с ними [ibid.].

* © О. Е. Столярова

Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-011-00281 А «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы».

Исходная версия текста данной главы представлена в [Столярова, 2020].

Априоризм и нормативизм, которые замыкают философию науки в рамках собственных теорий, не могут способствовать установлению тесного взаимодействия между философами и учеными. Недаром представителей позитивистской философии науки (и близкой к ней аналитической философии науки) часто называют «кабинетными» философами, а их философию — «кресельной» (armchair philosophy). Эта ироническая характеристика указывает, как мы понимаем, не только на телесную локализацию философствующего субъекта, но и главным образом на его приверженность строгому концептуальному анализу и рефлексии по поводу собственных умозрительных рассуждений. Кабинетные философы идут по «пути паука» (вспомним аналогию Ф. Бэкона), раскручивая из себя «паутину» знания и не нуждаясь во внешнем собеседнике. К тому же образ науки, транслируемый позитивизмом, в принципе исключает возможность диалога между наукой и философией. Позитивизм считает, что научный метод представляет собой упорядочение, систематизацию чувственного опыта. Все, что мы называем научным знанием, относится только к фиксации чувственных данных и описанию их посредством перевода на искусственный логико-математический язык. Если верить позитивизму, то науке не нужны ни смыслы, ни интерпретации. Ей нужны исключительно голые факты, к которым должны быть сведены все «осмысленные» суждения. Но мысль, ставшая «голым фактом», перестает быть мыслью¹²⁶. Не удивительно поэтому, что *такая наука* не слышит философию. В лучшем (для традиционной философии) случае такая наука снисходительно оставляет философию в стороне как «неадекватное средство для выражения чувства жизни» [Карнап, 1993, с. 25]. В худшем — редуцирует ее (и всю духовную культуру) к «естественной причинности».

Критики «кабинетной» концепции науки призывают философов покинуть их «кабинеты» и сделать это не только в символическом, но и в телесном смысле¹²⁷. Такие направления постпозитивизма, как социальная эпистемология, историческая эпистемология, исследования науки и техники (STS), настаивают на том, что философы науки должны обратиться к реальным процессам исторического развития науки, ее социальному устройству, ее лабораторным практикам. Социологи науки в буквальном смысле *приходят* в научные лаборатории для того, чтобы открыть «черный ящик» науки. Исторические и социальные эпистемологи стремятся дополнить контексты обоснования научных теорий контекстами открытия. Сегодня, по прошествии нескольких десятилетий такого рода усилий, мы можем подвести некоторые предварительные итоги этих исследований и попытаться оценить, насколько эти новые стратегии и тактики изменяют философский образ науки, насколько они способствуют формированию взаимного интереса между естественными науками, с одной стороны, и социогуманитарным знанием, с другой стороны. С моей точки зрения, эти усилия действительно открывают «диалоговое окно» между философией и наукой.

Медицина как предмет исторической эпистемологии

Предметом дальнейшего (хотя и очень схематичного в рамках данной статьи) рассмотрения будут историческая эпистемология, которая представляет обновленную (критическую по отношению к позитивизму) философию науки¹²⁸, и медицина, представляющая науку. Для начала поясню этот выбор. На мой взгляд, историческая эпистемология занимает особое место в ряду современных междисциплинарных исследо-

¹²⁶ «Наука не мыслит. Она не мыслит, ибо ее способ действия и ее средства никогда не дадут ей мыслить — мыслить так, как мыслят мыслители...» [Хайдеггер, 1991, с. 136].

¹²⁷ Дело происходило в доковидном мире, когда пребывание в кабинете не связывалось столь непосредственно с социальной добродетелью.

¹²⁸ Нужно отметить, что историческая эпистемология примыкает к многочисленным исследованиям науки в том отношении, что ее интересует прежде всего наука как особая форма культуры и научное познание как движущая сила развития культуры в целом.

ваний науки. При определенной методологической и содержательной схожести с иными постпозитивистскими исследованиями науки¹²⁹, которые видят свою задачу в том, чтобы включить науку в социокультурный контекст, именно историческая эпистемология в наибольшей степени сохраняет и осознанно культивирует традиционную философскую проблематику. Возможно, в этом с ней может соперничать только социальная эпистемология, которая «сохраняет классический тезаурус эпистемологии — парные категории субъекта-объекта, познания-непознанного, истины-заблуждения, сознания-бессознательного, языка-невывразимости, рационального-иррационального, онтологии-эпистемологии» [Касавин, 2013, с. 539]. Что же касается исторической эпистемологии, то она также разделяет с традиционной философской эпистемологией этот «классический тезаурус», но переносит его в диахронический план. Признавая близость исторической и социальной эпистемологий (иногда доходящую до почти полной институциональной и содержательной неразличимости), я склоняюсь к точке зрения Т. Рокмора, который полагает, что историческая эпистемология «включает в себя социальную эпистемологию» [Rockmore, 2002, p. 18]. Рокмор считает, что историческая эпистемология представляет собой более широкий взгляд на познавательные контексты: «Историческая эпистемология, — или, лучше, историцизм, который мы понимаем как позицию, указывающую на внутреннюю историчность знания, в противоположность позиции, указывающей на знание истории, — есть такая точка зрения, которая утверждает, что знание зависит не только от социального контекста своего времени, но и от изменения этого контекста во времени» [ibid.]¹³⁰. Мне думается, что эпистемология больше сможет рассказать нам о причинах смены познавательных перспектив, если она не будет заранее ограничивать эти причины *социальными*.

Вторым собеседником рассматриваемого нами диалога между философией и наукой выступает медицина. Почему именно медицина? Мой выбор обусловлен двумя соображениями: первое ориентировано на повестку дня, второе имеет отношение к теоретическим принципам и методологии медицинских практик в их относительной устойчивости. Что касается первого соображения, то здесь все очевидно. Точнее говоря, все как раз неочевидно. Иначе говоря, сегодня очевидным становится то, что все, что касается медицины, — сугубо *неочевидно*. Сегодня в связи с объявленной пандемией COVID-19 и ее социальными и экзистенциальными последствиями к медицинским теориям и практикам приковано внимание общества. И сегодня как никогда, пожалуй, ранее у нас складывается впечатление, что медицина приблизительно, туманна, спорна, непонятна, сомнительна и т. п. И если, как уверяет М. Бунге, представители медицины всегда были и остаются стихийными философами, явно и скрыто размышляющими о проблемах реализма, конструктивизма, натурализма, этики [Bunge, 2013, p. VII], то в наши дни это стихийное философствование в отношении медицинских вопросов выплеснулось за пределы медицинских кругов в широкую публику. Там же, где живет стихийное философствование, существует запрос и на профессиональных философов, поэтому обращение философии и, в частности, философии науки к медицине вполне отвечает ситуации.

Второе соображение указывает на некоторые принципиальные особенности медицинских теории и практики, которые не только отличают медицину от других естественных наук, но и делают ее особо значимым собеседником для философии науки (исторической эпистемологии). Сошлемся на точку зрения М. Вартофского, автора од-

¹²⁹ К ним относятся многочисленные программы и направления, часто объединяемые под общим именем *исследований науки и техники (STS)*, — такие как социология научного знания, акторно-сетевая теория, феминистская эпистемология, социальная эпистемология, третья волна исследований науки, этнография науки, история и философия науки и многие другие. См. дисциплинарный контекст исторической эпистемологии и обзор ее проблематики в: [Шиповалова, 2018a].

¹³⁰ См. о соотношении социальной и исторической эпистемологий: [Кукарцева, 2007].

ной из версий исторической эпистемологии¹³¹. Вартофский делает достаточно сильное заявление: для того, чтобы производить хорошую эпистемологию, философии нужно обратиться к медицине [Wartofsky, 2002, p. 55]. Вартофский подчеркивает: «Я не собираюсь доказывать, что философам нужно изучать медицину, чтобы разрабатывать эпистемологию *медицины*, — это ясно и без доказательств. Моя идея состоит в том, что философам нужно изучать медицину, чтобы разрабатывать эпистемологию как таковую» [ibid.]. Как можно обосновать такое заявление? Мы согласны с тем, что медицина представляет собой одну из древнейших форм человеческого знания, что она имеет богатую историю, что она социально востребована. Но все это еще не обеспечивает ей эпистемологических привилегий по сравнению, скажем, с физикой, которая тоже характеризуется всем вышеперечисленным. Чтобы понять эпистемологическую уникальность медицины, нам следует «сменить регистр» — переключиться из режима абстрактной философии науки, которая имеет дело с контекстом обоснования, в режим исторической эпистемологии, которая имеет дело с контекстом открытия. Своеобразие медицины состоит в том, что она, будучи не только наукой, но и искусством (*ars medicina*), и ремеслом, разворачивается в значительной степени или даже по преимуществу в контексте открытия. Она соединяет в себе черты фундаментальной науки (*знание-что*) и техники (*знание-как*) и в силу этого обнаруживает сильную зависимость от так называемого *неявного* знания (*tacit knowledge*). Врач знает, *что* нужно делать для пациента, медсестра знает, *как* это нужно делать [Bunge, 2013, p. 211]. История медицины наполнена примерами того, как практическое знание (*знание-как*) создает новые теории (*знание-что*) [Johnson, Berner, 2010; Hofmann 2002].

Интерес исторической эпистемологии к медицине¹³² свидетельствует о том, что эпистемология больше не связывает парадигматическое знание с математизированным естествознанием строго однозначно, как это было характерно для традиционной эпистемологии и философии науки. Пусть, исследуя медицину, историческая эпистемология стремится ответить на традиционные вопросы эпистемологии относительно оснований нашего знания, критериях его истинности и т. д. Но она полагает (в отличие от предшествующей, абстрактной, философии науки), что ответы на эти вопросы следует искать в исторически конкретных практиках. Вартофский определяет знание как «исторически развивающийся артефакт» [Wartofsky, 2002, p. 57]. Это означает (в этом с ним согласились бы представители и других версий исторической эпистемологии), что в ходе истории меняется не только содержание нашего знания, но и существенные характеристики того, что мы определяем как знание. Речь идет не о том, что все меняется в каждый момент времени так, что и познаваемое, и само познание ускользают от определения. Речь идет об относительной устойчивости форм познания и познавательных практик, то есть об *исторических априори*, в рамках которых осуществляется наша познавательная деятельность. В этом отношении медицина действительно представляет собой парадигматический пример того, как возможно знание. Однако это знание не есть закодированная в искусственном логико-математическом языке последовательность голых фактов. Это знание-действие, практическая мудрость, репрезентирующая качественное своеобразие исторических форм практики.

¹³¹ Эта версия исторической эпистемологии характеризуется близостью к марксизму и генетической эпистемологии Ж. Пиаже.

¹³² В последние годы существенно возросло количество посвященных медицинским теориям и практикам исследований, авторы которых ассоциируют себя с исторической эпистемологией (часто с направлением *история и философия науки* (HPS), очень близким исторической эпистемологии). См., например: [Solomon, 2015]. В этой работе представлена обширная релевантная библиография.

Нужна ли медицине историческая эпистемология?

Мы обсудили в общих чертах то, что может рассказать медицина исторической эпистемологии. Но может ли что-либо рассказать историческая эпистемология медицине? Нужна ли медицинским исследователям и клиницистам философия вообще и философия науки (историческая эпистемология) в частности? Вспомним известный афоризм: польза от философии не доказана, а вред возможен. Вообразим некоего условного «Сократа», который подстерегает хирурга у входа в операционную (в операционной находится экстренный пациент) и говорит ему: «Не спеши, прежде разберемся, куда и зачем ты торопишься, что собираешься делать? Давай я буду задавать тебе вопросы и возражать на твои ответы. Итак, болезнь и лечение что собой представляют?...».

Конечно, это утрированный образ. Но смысл состоит в том, что философия проблематизирует рутинные практики, заставляя нас усомниться в принятых на веру предпосылках, фоновых убеждениях, которые имплицитно направляют нашу деятельность. Не оказывает ли в таком случае теоретическая интрига, которую без устали плетет философия, парализующего эффекта на медицинскую практику? Не лучше ли для врачей (и, соответственно, для пациентов, в числе которых, кстати говоря, и философы) просто игнорировать тех, кто в силу своей профессии подвергает все *само собой разумеющееся* критической рефлексии? Не так ли в действительности врачи и поступают, предаваясь *своему* делу и не обращая внимания на философов?

Отвечая на эти вопросы, нужно пояснить следующее. Позиция, которую историческая эпистемология занимает по отношению к научному и, в частности, к медицинскому знанию, сама по себе *уже* предполагает, что медицина обладает восприимчивостью к философии. Дело в том, что историческая эпистемология занимается изменением способов познания, связывая эти изменения с общими мировоззренческими контекстами, которые в свою очередь связываются с историческими формами практики. Анализируя историю развития медицинского знания, исторические эпистемологии обращают внимание на то, как меняются представления исследователей и клиницистов о таких фундаментальных для медицины понятиях и феноменах, как здоровье, болезнь, лечебное воздействие и т. д. [Cutter, 2003]. Медицинская теория и практика весьма показательны для философской онтологии и эпистемологии в том смысле, что с ними трудно совместить точку зрения догматического реализма и сопряженной с ним корреспондентной теории истины. Серьезные трудности представляет защита позиции, утверждающей, что болезнь существует во внешнем мире *объективно*¹³³, то есть независимо как от переживаний своего носителя, человеческого субъекта, так и от познающего врача. Допустим, мы придерживаемся натуралистической (физикалистской) концепции каузальной замкнутости и собираемся связать ту или иную болезнь с той или иной естественной причиной или совокупностью причин. Мы сталкиваемся, например, со следующей проблемой. Предположим, что существуют «здоровое» и «больное» состояния тела и существуют причины, вызывающие эти состояния. Тогда, если не отделять причины, которые предположительно существуют у любых состояний тела, от этих состояний, то эти причины следует признать «здоровыми» или «больными»; если же отделять эти причины от состояний тела, то они (причины) окажутся нейтральными по отношению к «здоровью» и «болезни»¹³⁴.

Также проблемы для натуралистической и объективистской трактовки «болезни» создает тот факт, что, как показывает история медицины, понимание болезни претерпе-

¹³³ Я говорю здесь о науке (экспериментально-математическом естествознании) и о сциентистском тандеме *натурализма* и *объективизма*, в рамках которого приобретает значение понятие «естественного вида» (см. примеч. 15). Нужно отметить, что *объективизм* может быть также сопряжен с *идеализмом*, и это будет иметь другие последствия для философской интерпретации «болезни».

¹³⁴ См. обзор дискуссий в [Jeremy, 2016]; см. также: [Murphy, 2020, web].

вает значительные трансформации в зависимости от развития диагностических практик и технологий. Особенно любопытны в этом отношении «бессимптомные болезни», которые напрямую зависят от результатов лабораторной и аппаратной диагностики и совершенно не зависят от субъективных состояний и жалоб пациента¹³⁵. Например, малая форма бета-талассемии, как правило, протекает бессимптомно, но определяется как болезнь (гемоглобинопатия) при помощи лабораторных исследований (начиная с последней трети XX в.). Не является ли эта «болезнь» историческим феноменом, возникшим в результате расширения и усовершенствования диагностических методов? Затруднительно было бы признать эту и подобного рода «болезни» объективными состояниями мира, которые наподобие, например, электронов *существовали всегда*, но были *открыты в определенный момент* исторического времени¹³⁶. Допустим, мы скажем, что бессимптомные болезни всегда существовали, но мы о них до поры ничего не знали, так как: а) у нас не было технических средств о них узнать; б) они не вызывали у своих носителей ни плохого самочувствия, ни беспокойства. Тогда нам придется допустить, что все мы, невзирая на наше самочувствие, вероятно, были, есть и будем больны, и вопрос только в том, чтобы выявить эти болезни с помощью все более масштабных и тщательных исследований. Но эта позиция противоречит базовой концепции медицины, поскольку медицина определяет себя как теоретическую и практическую деятельность, которая направлена на помощь пациенту и заключается в устранении (объективных) нарушений нормальной работы организма, вызывающих (субъективные) страдания.

Пытаясь справиться с трудностями, которые влечет за собой натуралистически-объективистское понимание болезни, исследователи медицины проводят различия между а) объективно существующей болезнью как патологическим состоянием организма, которое устанавливает врач (*disease, disorder*), и б) болезнью как субъективно переживаемым недугом (*illness*) [Parsons, 1958; Marcum, 2008, p. 64–72]¹³⁷. Соответственно, различают признаки болезни, фиксируемые врачом, и симптомы, испытываемые пациентом. Однако эта дистинкция не устраняет проблемы объективности болезни. Когда дело доходит (а оно в случае медицины всегда и очень быстро доходит) до практики, то есть до диагностики и лечения, обнаруживается интегральный характер болезни и клинической ситуации в целом, которые соединяют в себе два плана — объективный, относящийся к состоянию мира (организма), и субъективный, относящийся: а) к переживаниям своего носителя (биологического и социального субъекта) и б) к восприятию и оценкам изучающего болезнь врача. Не только симптоматическое, но и этиотропное (направленное на устранение причины заболевания) лечение включает в себя ценностные предпочтения и культурные универсалии [Kräupl Taylor, 1979; Sundström, 1987]. Следовательно, нужно признать, что понимание «болезни», как, впрочем, и понимание «медицины» (медицинской теории и практики), претерпевают сущностные изменения в ходе исторического времени¹³⁸.

¹³⁵ Так, по усредненным экспертным оценкам, бессимптомные «больные», не предъявляющие никаких жалоб, составляют 40–50 % от общего количества заболевших COVID-19 в период пандемии.

¹³⁶ Например, в случае малой талассемии мутация гена устанавливается как инструментально опосредованный феномен, который, допустим, отсылает к объективному состоянию мира, но можно ли считать это состояние мира «больным»?

¹³⁷ Иногда выделяют также болезнь как интерсубъективный социальный феномен (*sickness*) [Susser, 1990; Hofmann, 2016].

¹³⁸ Холистическая природа медицинской теории и практики, характеризующаяся эпистемологическим смешением объективного и субъективного и онтологическим смешением естественных, искусственных и социальных компонентов, делает медицину излюбленным объектом исследований науки и технологии (STS). В последние десятилетия в STS возникает практически необозримое количество работ по социологии, социальной истории, культурологии, этнографии и т. п. медицины. Их авторы помещают «болезнь» и «лечение» в социокультурный контекст, вне которого, как они справедливо полагают, трансформации медицинского знания и клинических практик не находят адекватного объяснения и понимания. См., например, анализ возникновения и развития стандартизированной (лабораторной) медицины (XIX в.)

Этот вывод, однако, выглядит проблематично. В рассматриваемом случае понимание «болезни» и понимание «медицины», очевидно, привязаны друг к другу. Если мы настаиваем на существовании «бессимптомных болезней» (которые не зависят от переживаний пациента, но зависят от методов диагностики), то нам следует пересмотреть понимание «медицины» и расширить концепцию медицины за пределы практики устранения субъективных страданий пациента, одновременно признав предшествующую «медицину» *недомедициной*. Если мы хотим сохранить традиционную концепцию медицины как теоретической и практической деятельности, направленной на помощь страдающему пациенту, то нам следует отказать «бессимптомным болезням» в том, чтобы называться «болезнями». Соответственно, нам следует отказаться либо от объективности «болезни» в пользу объективности (устойчивости) «медицины», либо от объективности (устойчивости) «медицины» в пользу объективности «болезни». Можно возразить, что мы здесь неправомерно смешали эпистемологический и онтологический аспекты проблемы. То, что мы называем «медициной», представляет собой методологию (эпистемологию) — теоретическую и практическую деятельность, а то, что мы называем «болезнью», относится к онтологии, «естественному виду»¹³⁹. Значит, открывая новый (*всегда существовавший*) естественный вид, мы вправе изменить методологию (эпистемологию), приводя ее в соответствие с нашим открытием. Но проблема заключается в том, что за открытие нового (*всегда существовавшего*) естественного вида отвечает именно методология (эпистемология). Если мы изменим методологию, то наше открытие рискует утратить научную легитимность.

Историческая эпистемология предлагает способ избежать подобных ловушек объективизма и натурализма, вводя концепцию *стилей мышления*¹⁴⁰. А. Кромби характеризует «стиль научного мышления» как «обязательства, которые идентифицируют закономерности в природе, выделяя их как объект исследования, и определяют вопросы, методы и виды доказательств, соответствующие приемлемым в рамках данного стиля ответам» [Crombie, 1997, p. 62]¹⁴¹. Данное определение является круговым, но в этом состоит его достоинство¹⁴². «Каждый стиль», — пишет Кромби, — «создает свой собственный предмет»¹⁴³ и одновременно создается им» [ibid.]. Принципиально то, что стили не сменяют друг друга в линейном прогрессивном движении, а частично перекрывают друг друга [Hacking, 1994, p. 34–35], «принимая форму ветвей, растущих на разных уровнях в разных направлениях» [Crombie, 1997, p. 63]. Имея дело с «болезнью», медицинские исследования и медицинская практика комбинируют различные стили мышления (с преобладанием тех или иных в зависимости от времени и места).

и условий перехода к персонализированной медицине (XX–XXI вв.) [Tutton, 2014]. Обширная библиография исследований медицины в STS содержится в работе [Solomon, 2015].

¹³⁹ Я здесь имею в виду общепринятое понимание термина «естественный вид» (оставляю в стороне многочисленные интерпретации и нюансы): «Определить вид как *естественный* означает сказать, что он соответствует классификации, которая отражает структуру природного мира, а не интересы и действия человеческих существ» [Bird and Tobin, 2018].

¹⁴⁰ Концепция «стилей мышления» восходит к работе Л. Флека «Возникновение и развитие научного факта» (1935), разрабатывается А. Кромби («стили научного мышления»), А. Дэвидсоном («стили рассуждения»), Я. Хакингом («стили научного рассуждения»), близка к понятиям «парадигма» Т. Куна, «исследовательская программа» И. Лакатоса, «эпистема» М. Фуко.

¹⁴¹ Кромби выделяет шесть стилей: постулирующий, экспериментальный, моделирующий, таксономический, вероятностно-статистический, историко-генетический [Crombie, 1997, p. 62]; Я. Хакинг добавляет к шести стилям научного мышления седьмой — «лабораторный стиль», который характеризуется конструированием новых объектов с помощью технических средств в искусственных условиях [Hacking, 1994; Hacking, 2002].

¹⁴² «Возникает подозрение в круговом характере рассуждения. Я принимаю этот круг. Я приветствую его. Существует странное положение дел, при котором стиль рассуждения и условия истинности некоторых предложений взаимно удостоверяют друг друга. <...> Дилемма «истина-ложь» и стиль [рассуждения — О.С.] произрастают совместно» [Hacking, 1992, p. 135].

¹⁴³ Так, постулирующий метод создает абстрактные объекты, таксономический метод — виды и роды, и т. д.

Сосуществование стилей объясняет противоречивые интерпретации «болезни», каждая из которых обладает собственной легитимностью в контексте определенного стиля — клинического, лабораторного, статистического, таксономического и т. д. «Болезнь», рассматриваемая исторической эпистемологией в контекстах стилей мышления, представляет собой *концепт* в том смысле, который придали этому понятию французские эпистемологи Ж. Кангилем, М. Фуко и который наследуют современные исторические эпистемологи. Концепт «болезнь» не тождествен слову «болезнь»: одно и то же слово может относиться к разным концептам. Концепты — это онтологические и эпистемологические эффекты практики («эпистемические вещи» в терминологии Х.-Й. Райнбергера), которая, соответственно, трактуется как условие возможности удостоверяемого наукой существования объектов и процессов. Рассмотренная через оптику исторической эпистемологии «болезнь» представляет собой не только биологическую, но и социальную сущность, продукт материальной и концептуальной истории.

Таким образом, историческая эпистемология показывает, что медицинские теории и практики нагружены (исторически относительными) культурными универсалиями, — мировоззренческими идеями и, в частности, философскими теориями, — которые существенно влияют на медицину и во многом определяют ее динамику. Но, быть может, философия, которую мы обнаруживаем, изучая развитие медицины, остается *стихийной*? Тогда вполне понятно, что медицина *со своей стороны* не видит никаких точек соприкосновения с профессиональным философским знанием. По поводу этого соображения можно сказать следующее. И профессиональная философия в значительной степени является стихийной, если под *стихийностью* мы в данном случае понимаем включенность профессиональных исследователей в общество, то есть усвоение ими фоновых смыслов и ценностей, транслируемых культурой в ее исторически конкретных проявлениях. Задача исторической эпистемологии состоит в том, чтобы распознать эту стихийность в различных регионах нашего знания и вербализировать ее, предоставив иным дисциплинам и дисциплинарным практикам дополнительный материал для самоопределения.

Библиография

- Achbari, 2017 — *Achbari A.* The Reviews of Leviathan and the Air-Pump: A Survey // *Isis*. 2017. Vol. 108, No 1. P. 108–116.
- Alder, 2013 — *Alder K.* The History of Science as Oxymoron: From Scientific Exceptionalism to Episcience // *Isis*. 2013. Vol. 104. № 1. P. 92–94
- Alpers, 1984 — *Alpers S.* The Art of Describing: Dutch Art in the 17th century. Chicago: University of Chicago Press, 1984. 273 p.
- Alvargonzalez, 2013 — *Alvargonzalez D.* Is The History of Science Essentially Whiggish? // *History of Science*. 2013. Vol. 51(1). P. 85–99.
- Arabatzis, 2003 — *Arabatzis T.* Towards a historical ontology // *Studies in History and Philosophy of Science*. 2003. № 34. P. 431–442.
- Arabatzis, 2006 — *Arabatzis T.* Representing Electrons: A Biographical Approach to Theoretical Entities. Chicago: University of Chicago Press, 2006. 295 p.
- Arabatzis, 2011 — *Arabatzis T.* On the History of Scientific Object // *Erkenntnis*. 2011. № 75. P. 377–390.
- Arabatzis, 2015 — *Arabatzis T., Howard D.* Introduction: Integrated history and philosophy of science in practice // *Studies in History and Philosophy of Science*. 2015. No. 50. P. 1–3.
- Ashplant, Wilson, 1998 — *Ashplant T.G., Wilson A.* Present-centered History and the Problem of Historical Knowledge // *The Historical Journal*. 1998. № 31. P. 253–275.
- Bachelard, 1966 — *Bachelard G.* La philosophie du non: essai d'une philosophie du nouvel esprit scientifique. P.: Les Presses universitaires de France, 1966. 147 p.
- Bachelard, 1966 — *Bachelard G.* Philosophie du Non (1940). 4me ed. Paris: PUF, 1966. 147 p.
- Bachelard, 1972 — *Bachelard G.* Matérialism Rationnel (1953). 3me ed. Paris: PUF, 1972. 225 p.
- Bachelard, 2006 — *Bachelard G.* The Formation of the Scientific Mind. Clinamen Press Ltd, 2006. 266 p.
- Ball, 2001 — *Ball P.* Bright earth, and the invention of color. London: Viking, 2001. 384 p.
- Bird and Tobin, 2018 — *Bird A., Tobin E.* Natural Kinds // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2018 Edition) / ed. by E.N. Zalta. URL: <<https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/natural-kinds/>>. (дата обращения: 22.07.2020).
- Bleichmar, 2011 — *Bleichmar D.* The Geography of Observation: Distance and Visibility in Eighteenth-Century Botanical Travel // *Histories of Scientific Observation*. Ed. by L. Daston and E. Lunbeck. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2011. P. 373–395.
- Bloor, 1976 — *Bloor D.* Knowledge and Social Imagery. London: Routledge, 1976. 156 p.
- Boaventura, Nunes, Meneses, 2007 — *Boaventura S. S., Nunes J. A., Meneses M. P.* Introduction: Opening Up the Canon of Knowledge and Recognition of Difference // *Another Knowledge Is Possible: Beyond Northern Epistemologies* / ed. by S. S. de Boaventura. London: Verso, 2007. 447 p.
- Bouterse, 2017 — *Bouterse J.* On Rereading a Classic // *Isis*. 2017. Vol. 108. No 1. P. 130–132.
- Braunstein, 2002 — *Braunstein J.-F.* Bachelard, Canguilhem, Foucault. Le «style français» en épistémologie. // *Les philosophes et la science*. Paris: Gallimard, 2002. P. 920–963.

Braunstein, 2002 — *Braunstein J.-F.* Bachelard, Canguilhem, Foucault. Le «style français» en épistémologie. // Les philosophes et la science. Paris: Gallimard, 2002. P. 920–963.

Braunstein, 2006 — *Braunstein J.-F.* Abel Rey et les débuts de l'Institut d'histoire des sciences et des techniques (1932-1940) // L'épistémologie française, 1830–1970. Paris: PUF, 2006. P. 173–191.

Braunstein, 2012 — *Braunstein J.-F.* Historical Epistemology, Old and New // Epistemology and History. From Bachelard and Canguilhem to Today's History of Science. Eds. Jean-François Braunstein, Hennig Schmidgen, Peter Schöttler. Paris: Max Planck Institute for the History of Science, 2012. P. 33–41.

Brenner, 2005 — *Brenner A.* Réconcilier les sciences et les lettres: Le rôle de l'histoire des sciences selon Paul Tannery, Gaston Milhaud et Abel Rey // Revue d'histoire des sciences. 2005. Vol. 58. № 2. P. 433–454.

Brenner, 2006 — *Brenner A.* Un “positivisme nouveau” en France au début du XX siècle (Milhaud, le Roy, Duhem, Poincaré) // L'épistémologie française, 1830–1970. Paris: PUF, 2006. P. 11–25.

Brenner, 2015 — *Brenner A.* Is There a Cultural Barrier between Historical Epistemology and Analytic Philosophy of Science? // International Studies in the Philosophy of Science. 2015. Vol. 29. №2. P. 201–214.

Brush, 1974 — *Brush S. G.* Should the History of Science Be Rated X? // Science. 1974. Vol. 183. № 4130. P. 1164–1172.

Bunge, 2013 — *Bunge M.* Medical Philosophy: Conceptual Issues in Medicine. Singapore; L.; N.Y.: World Scientific Publ. Co., 2013. 270 p.

Butterfield, 1955 — *Butterfield H.* Man on his Past. The Study of the History of Historical Scholarship. Cambridge: Cambridge University Press, 1955. 238 p.

Canguilhem, 1963 — *Canguilhem G.* L'histoire des sciences dans l'œuvre épistémologique de Gaston Bachelard [1963] // Etudes d'histoire et de philosophie des sciences. Paris: Vrin, 1968. P. 173–186.

Canguilhem, 1988 — *Canguilhem G.* Ideology and rationality in the history of the life sciences. London: MIT Press, 1988. 160 p.

Carlile, Langley, 2013 — How Matter Matters: Objects, Artifacts, and Materiality in Organization Studies (Vol. 3) / eds. by P.R. Carlile, A. Langley. Oxford University Press, 2013.

Cartwright, 1983 — *Cartwright N.* How the Laws of Physics Lie. N. Y.: Clarendon press, 1983. 221 p.

Chimisso, 2003 — *Chimisso Cr.* The tribunal of philosophy and its norms: history and philosophy in Georges Canguilhem's historical epistemology // Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 2003. Vol. 34. P. 297–327.

Chimisso, 2008 — *Chimisso C.* Writing the history of the Mind: philosophy and science in France, 1900 to 1960. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2008. 209 p.

Chimisso, 2015 — *Chimisso C.* Narrative and epistemology: Georges Canguilhem's concept of scientific ideology // Studies in History and Philosophy of Science. 2015. Vol. 54. P. 64–73.

Chimisso, Gad, 1933 — *Chimisso Cr., Gad F.* A Mind of her Own: Helene Metzger to Emile Meyerson, 1933 // Isis 2003. Vol. 94. №3. P. 477–491.

Conference, 2012 — History and Epistemology: From Bachelard and Canguilhem to Today's History of Science, Max Planck Institute for the History of Science. 2012 Conference. Preprint 434. URL: <https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P434.PDF>. (Дата обращения 14.10.2018).

Cooper, 2007 — *Cooper A.* Inventing the Indigenous: Local Knowledge and Natural History in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 236 p.

- Coopmans et al., 2014 — Representation in Scientific Practice Revisited / Ed. C. Coopmans, J. Vertesi, M. Lynch, S. Woolgar. Mass.: MIT Press, 2014.
- Cosgrove, 2001 — *Cosgrove D.* Apollo's Eye: A Cartographic Genealogy of the Earth in the Western Imagination. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2001.
- Couturat, 1896 — *Couturat L.* De l'infini mathématique. Paris: Alcan, 1896. 667 p.
- Couturat, 1901 — *Couturat L.* Lexique philosophique // Russell B. Essai sur les fondements de la géométrie. Paris: Gauthier-Villars, 1901. P. 255–260.
- Crampton, 2010 — *Crampton J. W.* Mapping: A Critical Introduction to Cartography and GIS. N. Y.: Wiley-Blackwell, 2010. 232 p.
- Crombie, 1994 — *Crombie A. C.* Styles of Scientific Thinking in the European Tradition: The History of Argument and Explanation Especially in the Mathematical and Biomedical Sciences and Arts. 3 Vols. L., 1994.
- Crombie, 1995 — *Crombie A.C.* Styles of Scientific Thinking in the European Tradition: The History of Argument and Explanation Especially in the Mathematical and Biomedical Sciences and Arts. Duckbacks, 1995. 2456 p.
- Crombie, 1997 — *Crombie A.* Philosophical commitments and scientific progress // The Idea of Progress / ed. by A. Burgen, P. McLaughlin, J. Mittelstraß. B.-N.Y.: Walter de Gruyter, 1997. P. 47–64.
- Crone, 2012 — Crone R. A. A history of color: the evolution of theories of light and color. Springer, 292 p.
- Cutter, 2003 — *Cutter M. A. G.* Reframing Disease Contextually. Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2003. 195 p.
- Damböck, 2014 — *Damböck Ch.* Caught in the Middle: Philosophy of Science between the Historical Turn and Formal Philosophy as Illustrated by the Program of “Kuhn Sneedified” // HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science. 2014. Vol. 4, No. 1. P. 62–82.
- Daston, 1992 — *Daston L.* Objectivity and Escape from Perspective // Social Studies of Science. 1992. № 22. P. 597–618.
- Daston, 1994 — *Daston L.* Baconian facts, Academic Civility, and the Prehistory of Objectivity // Rethinking Objectivity / Ed. A. Megill. Durham and London, 1994. P. 37–64.
- Daston, 2000 — Biographies of Scientific Objects / Ed. L. Daston. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2000. 308 p.
- Daston, 2008 — Things that Talk: Object Lessons from Art and Science / Ed. L. Daston. New York: Zone Books, 2008. 448 p.
- Daston, 2009 — *Daston L.* Science Studies and the History of Science // Critical Inquiry. 2009. Vol. 35. № 4. P. 798–813.
- Daston, 2011 — *Daston L.* The Empire of Observation, 1600–1800 // Histories of Scientific Observation. Ed. by L. Daston and E. Lunbeck. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2011. P. 81–113.
- Daston, 2016 — *Daston L.* History of Science without Structure // Richards R.J. and Daston L. (eds.) Kuhn's Structure of Scientific Revolutions at Fifty. Reflections on a Science Classic. Chicago: Chicago University Press, 2016. P. 115–132.
- Daston, Galison, 1992 — *Daston L., Galison P.* The Image of Objectivity // Representation. 1992. № 40. Special Issue: Seeng Science. P. 81–128.
- Daston, Galison, 2007 — *Daston L., Galison P.* Objectivity. New York: Zone Books, 2007.
- Daston, Lunbeck, 2011 — Histories of Scientific Observations. (eds.) Daston L., Lunbeck E. University of Chicago Press, Chicago and London, 2011.
- Daston, Stollies, 2008 — Natural Law and Laws of Nature on Early Modern Europe / Eds. by L. Daston M. Stollies. Max Planck Institute for History of Science, Berlin Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt-am-Main, 2008.

- Davidson, 2002 — *Davidson A. I.* The emergence of sexuality: Historical epistemology and the formation of concepts. Cambridge: Harvard University Press, 2002. 272 p.
- Dekker, 2007 — *Dekker E.* Globes in Renaissance Europe // The history of cartography. Volume 3. Cartography in the European Renaissance. Ed. by D. Woodward. Chicago and London: University of Chicago Press, 2007. P. 135–173.
- Denzin, 1995 — *Denzin N.* The poststructural crisis in the social sciences: Learning from James Joyce. // Postmodern Representations. Truth, Power, and Mimesis in the Human Sciences and Public Culture. Brown R.H. (ed). University of Illinois Press, 1995. P. 38–60.
- Detaro, 2010 — *Detaro M.* L'epistemologia storica dei concetti: una questione di stile. Confronto a distanza fra Ian Hacking e Arnold I. Davidson // *Medicina & Storia*. 2010. Vol. X, 19-20, n.s., P. 221–234.
- Deutscher, 2011 — *Deutscher G.* Through the language glass. London: Random House, 2011. 310 p.
- Downie, 2001 — *Downie R.* Science and the imagination in the age of reason // *Medical Humanities*. 2001. Vol. 27(2). P. 58–63.
- Edney, 2007 — *Edney M. H.* Mapping Empires, Mapping Bodies: Reflection on the Use and Abuse of Cartography. // *Treballs de la Societat Catalana de Geografia*. 2007. Vol. 63. P. 83–104.
- Edney, 2019 — *Edney M. H.* Cartography: The Ideal and its History. Chicago and London: University of Chicago Press, 2019. 310 p.
- Engel, 2002 — *Engel P.* La philosophie analytique en France: un bilan institutionnel. Actes du 3ème colloque de la SOPHA. La normativité // *Cahiers de philosophie de l'université de Caen*. 2001. № 37. P. 467–480.
- Engel, 2005 — *Engel P.* Introduction générale. // *Philosophie de la connaissance: Croyance, connaissance, justification*. Paris, 2005. P. 7–29.
- Fabiani, 2010 — *Fabiani J.-L.* Qu'est-ce qu'un philosophe français? Paris: Editions d'EHESS, 2010. 316 p.
- Feest, Sturm, 2011 — *Feest U., Sturm T.* What (Good) Is Historical Epistemology? // *Erkenntnis*. 2011. Vol. 75(3). P. 285–302.
- Ferrier, 1854 — *Ferrier J.F.* Institutes of metaphysic: the theory of knowing and being. Edinburgh: W. Blackwood, 1854. 530 p.
- Finlay, 2004 — *Finlay V.* Color. A natural history of the palette. NY: Random House, 2004. 448 p.
- Fleck, 1979 — *Fleck L.* Genesis and Development of a Scientific Fact: Introduction into the Theory of the Thought Style and Thought Collective. 1979.
- Foucault, 1972 — *Foucault M.* The Archeology of Knowledge, transl. by A. M. Sheridan Smith. N.Y.: Pantheon Books, 1972. 246 p.
- Friedman, 2002 — *Friedman M.* Kant, Kuhn, and the Rationality of Science // *History of Philosophy of Science: New Trends and Perspectives* / Ed. by M. Heidelberger and F. Stadler. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V., 2002. P. 25–41.
- Gage, 1993 — *Gage J.* Color and culture. Practice and meaning from antiquity to abstraction. London: Thames & Hudson, 1993. 335 p.
- Galison, 2008 — *Galison P.* Ten Problems in History and Philosophy of Science // *Isis*. 2008. Vol. 99 № 1. P. 111–125.
- Galison, 2014 — *Galison P.* Visual STS // *Visualization in the Age of Computerization* / A. Carusi et al. (eds). N.Y.: Routledge, 2014. P. 197–225.
- Gambrich, 1968 — *Gombrich E. H.* Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London: Phaidon. 1968.
- Garber, 2016 — *Garber D.* Why the Scientific Revolution Wasn't a Scientific Revolution // *Richards R.J. and Daston L. (eds.) Kuhn's Structure of Scientific Revolutions at Fifty. Reflections on a Science Classic*. Chicago: Chicago University Press. 2016. P.133–150.

- Gavroglu, 1990 — *Gavroglu K.* Differences in Style as a Way of Probing the Context of Discovery // *Philosophica*. 1990. Vol. 45. №1. P. 53–75.
- Gavroglu, Renn, 2007 — Positioning the History of Science / Ed. K. Gavroglu, J. Renn. Dordrecht: Springer, 2007. 188 p.
- Gayon, 2003 — *Gayon J.* Bachelard et l'histoire des sciences // J.-J. Wunenburger (ed.), *Bachelard et l'épistémologie française*. Paris : P.U.F., 2003. 216 p.
- Gingras, 2010 — *Gingras Y.* Naming without necessity. On the genealogy and uses of the label “historical epistemology” // *Revue de Synthèse*, 2010. Vol. 131(3). P. 439–454.
- Golinski, 2012 — *Golinski J.* Is It Time to Forget Science? Reflections on Singular Science and Its History // *Osiris*. 2012. Vol. 27. P. 19–36.
- Grafton, 1994 — *Grafton A.* Defenders of the Text. The Traditions of Scholarships in an Age of Science, 1450-1800. London: Harvard University Press, 1994. 330 p.
- Greco, Sosa, 1999 — The Blackwell Guide to Epistemology. / Eds. J. Greco, E. Sosa. Oxford: Blackwell. 1999. 464 p.
- Gutting, 2001 — *Gutting G.* French Philosophy in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. — 419 p.
- Hacking, 1975 — *Hacking I.* The Emergence of Probability. Cambridge: Cambridge University Press, 1975. 246 p.
- Hacking, 1983 — *Hacking I.* Representing and Intervening. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 304 p.
- Hacking, 1991 — *Hacking I.* Artificial phenomena // *British Journal for the History of Science*. 1991. Vol. 24. P. 235-241.
- Hacking, 1992 — *Hacking I.* “Style” for historians and philosophers // *Studies in History and Philosophy of Science*. 1992. Vol. 23. №1.
- Hacking, 1992 — *Hacking I.* Statistical language, statistical truth and statistical reason: The self-authentication of a style of scientific reasoning // *The Social Dimensions of Science* / ed. By E. McMullin. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1992. P. 130–157.
- Hacking, 1994 — *Hacking I.* Styles of Scientific Thinking or Reasoning: A New Analytical Tool for Historians and Philosophers of the Sciences // Gavroglu K., Christianidis J., Nicolaidis E. (eds) *Trends in the Historiography of Science*. Boston Studies in the Philosophy of Science. Vol 151. Springer, Dordrecht, 1994. P. 31–48.
- Hacking, 2002 — *Hacking I.* Historical ontology. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002. 288 p.
- Hall, 1983 — *Hall A.R.* On Whiggism // *History of Science*. 1983. № 21. P. 45–59.
- Harley, 2001 — *Harley B.* The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2001. 340 p.
- Harnesk, 2007 — *Harnesk H.* Linnaeus — Genius of Uppsala. Stockholm: Hallgren&Fallgren, 2007. 123 p.
- Harris, 1998 — *Harris S. J.* Long-Distance Corporations, Big Sciences, and the Geography of Knowledge // *Configurations* Volume 6, Number 2, Spring 1998. P. 269–303.
- Harwood, 1986 — *Harwood J.* Ludwik Fleck and the sociology of knowledge // *Social Studies of Science*. 1986. Vol. 16. №1. P. 173–187.
- Harwood, 1993 — *Harwood J.* Styles of Scientific Thought: The German Genetics Community, 1900-1933. London: The University of Chicago Press, 1993.
- Hendry, 2016 — *Hendry R.F.* Immanent Philosophy of X // *Studies in History and Philosophy of Science*. 2016. № 55. P. 36–42.
- Hintikka, 1974 — *Hintikka J.* Knowledge and the Known, Historical Perspectives on Epistemology. Dordrecht-Boston, 1974. 260 p.
- Hofmann, 2002 — *Hofmann B.* The Technological Invention of Disease — On Disease, Technology and Values. Oslo: Unipub AS, 2002. 24 p.

- Hofmann, 2016 — *Hofmann B.* Disease, Illness, and Sickness // The Routledge Companion to Philosophy of Medicine / ed. by M. Solomon, R.S. Jeremy, H. Kincaid. N.Y. - L.: Routledge, 2016. P. 16–26.
- Holbraad, Pedersen, 2017 — *Holbraad M., Pedersen M.A.* The Ontological Turn. Cambridge University Press, 2017.
- Jacob, 2005 — *Jacob C.* The Sovereign Map: The Theoretical Approaches in Cartography through History. Chicago; L.: University of Chicago Press, 2005. 417 p.
- Jardine, 2003 — *Jardine N.* Whiggs and Stories. Herberd Butterfield and the Historiography of Science // History of science. 2003. Vol. 41. №132. P. 125–140.
- Jeremy, 2016 — *Jeremy R. S.* Realism and constructivism in medicine // The Routledge Companion to Philosophy of Medicine / ed. by M. Solomon, R.S. Jeremy, H. Kincaid. N.Y. - L.: Routledge, 2016. P. 90–100.
- Johnson, Berner, 2010 — *Johnson E., Berner B.* Technology and Medical Practice: Blood, Guts and Machines. L.; N.Y.: Routledge, 2010. 228 p.
- Kaiser, 2005 — *Kaiser D.* Training and the Generalist's Vision in the History of Science // Isis. 2005. Vol. 96. № 2. P. 244–245.
- Kinzel, 2015 — *Kinzel K.* Narrative and evidence. How can the case studies from the history of science support claims in the philosophy of science? // Studies in History and Philosophy of Science. 2015. № 49. p. 48–57.
- Kmita, 1988 — *Kmita J.* Problems in Historical Epistemology. Springer Netherlands 1988. 194 p.
- Kollektiv Orangotango+, ed., 2018 — This is not an Atlas: A Global Collection of Counter-Cartographies. Ed. by Kollektiv Orangotango+. Bielefeld: transcript Verlag, 2018. 352 p.
- Kräupl Taylor, 1979 — *Kräupl Taylor F.* The Concepts of Illness, Disease, and Morbus. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 144 p.
- Kroeber, 1957 — *Kroeber A. L.* Style and civilizations. New York: Cornell, 1957.
- Kusch, 2010 — *Kusch M.* Hacking's historical epistemology: A critique of styles of reasoning // Studies in History and Philosophy of Science. 2010. Vol. 41. №2. P. 158–173.
- Kusch, 2011 — *Kusch M.* Reflexivity, Relativism, Microhistory: Three Desiderata for Historical Epistemologies // Erkenntnis. 2011. Vol. 75. №3. P. 483–494.
- Kuukkanen, 2016 — *Kuukkanen J.-M.* Historicism and the failure of HPS // Studies in History and Philosophy of Science. 2016. № 55. p. 3–11.
- Kwa, 2011 — *Kwa C.* Styles of Knowing: A New History of Science from Ancient Times to the Present. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011. 367 p.
- Laland, 2010 — *Laland A.* (éd.) Vocabulaire technique et critique de la philosophie. 18 édition. Paris: PUF, 2010. — 1376 p.
- Latour, 1999 — *Latour B.* Do Scientific Objects Have a History? Paster and Whitehead in a Bath of Lactic Acid // Common Knowledge. 1999. No. 5. P. 76–91.
- Latour, 2000 — *Latour B.* On Partial Existence of Existing and Nonexisting Objects // Biographies of Scientific Objects / Ed. L. Daston. Chicago and London, 2000. P. 247–269.
- Laugier, 2002 — *Laugier S.* De la logiques de la science aux révolutions scientifiques // Wagner P. (Ed.) Les philosophes et la science. Paris: Gallimard. P. 964–1016.
- Laugier, 2006 — *Laugier S.* Duhem, Meyerson et l'épistémologie américaine postpositiviste // L'épistémologie française, 1830–1970. Paris: PUF, 2006. P. 67–91.
- Lecourt, 1975 — *Lecourt D.* Marxism and epistemology: Bachelard, Canguilhem, and Foucault. London: NLB, 1975. 223 p.
- Lecourt, 1978 — *Lecourt D.* Pour une critique de l'épistémologie (Bachelard, Canguilhem, Foucault), Paris: Maspero, 1978. 134 p.
- Lightbody, 2013 — *Lightbody B.* The Problem of Naturalism. Analytic Perspectives, Continental Values. Plymouth: Lexington books, 2013. 139 p.

- Lloyd, 1995 — *Lloyd E.A.* Objectivity and the Double Standard for Feminist Epistemologies // *Synthese*. 1995. № 104. P. 351–381.
- Lynch, 2018 — *Lynch W.T.* Imre Lakatos and the Inexhaustible Atom: the Hidden Marxist Roots of History and Philosophy of Science // *Epistemology & Philosophy of Science*. 2018. Vol. 55. No. 3. P. 25–34
- Marcum, 2008 — *Marcum J.A.* Humanizing Modern Medicine: An Introductory Philosophy of Medicine. Springer-Science+Business Media, 2008. 369 p.
- Marcus, Fischer, 1986 — *Marcus G.E., Fischer M.M.I.* Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago and London: University of Chicago Press, 1986.
- McCarthy, 2014 — *McCarthy T.* Introduction. // *Mapping it out: An alternative Atlas of Contemporary Cartographies*. Thames & Hadson, 2014. P. 6–9.
- Metzger, 1935 — *Metzger H.* Tribunal de l'histoire et théorie de la connaissance scientifique // *Archeion*. 1935. Vol. 17. P. 1–14.
- Metzger, 1936 — *Metzger H.* L'a priorie dans la doctrine scientifique et l'histoire des sciences // *Archeion*. 1936. Vol. 18. P. 29–42.
- Metzger, 1937 — *Metzger H.* La méthode philosophique dans l'histoire des sciences // *Archeion*. 1937. Vol. 19. P. 204–216.
- Meyerson, 1908 — *Meyerson É.* Identité et réalité. Paris: F. Alcan, 1908. — 432 p.
- Moro Abadia, 2008 — *Moro Abadia O.* Beyond the Whig Interpretation of History: Lessons of Presentism from Helene Metzger // *Studies in History and Philosophy of Science*. 2008. Part A. № 39(2). P. 194–201.
- Moro Abadia, 2011 — *Moro Abadia O.* Hermeneutical Contribution to the History of Science: Gadamer on «Presentism» // *Studies in History and Philosophy of Science*. 2011. Part A. № 42. P. 372–380.
- Murphy, 2020, web — *Murphy D.* Concepts of disease and health // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2020 Edition) / ed. by E.N. Zalta. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/health-disease/#SpecCaus> (дата обращения: 22.06.2020).
- Mößner, 2011 — *Mößner N.* Thought styles and paradigms: A comparative study of Ludwig Fleck and Thomas S. Kuhn // *Studies in the History and Philosophy of Science*. 2011. 42 (2). P. 362–371.
- Nasim, 2013 — *Nasim O.* Was ist historische Epistemologie? // *Nach Feierabend*; ed. by M. Hagner and C. Hirschi. Zurich, Berlin: Diaphanes. 2013. P. 123–144.
- Nozick, 1998 — *Nozick R.* Invariance and Objectivity // *Proceeding and Addresses of PA*. 1998. Vol. 72. P. 21–48.
- Nurminen, 2015 — *Nurminen M. T.* The Mapmaker's World: A Cultural History of European World Map. London: The Pool of London Press, 2015. 347 p.
- Pallegrini, 2019 — *Pellegrini P.* Styles of thought on the continental drift debate // *Journal of General Philosophy of Science*. 2019. № 50. P. 85–102.
- Park, 2011 — *Park K.* Observation in the Margins, 500—1500. // *Histories of Scientific Observation*. Ed. by Daston L. and Lunbeck E. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2011. P. 15–44.
- Parodi, 1930 — *Parodi D.* Du positivisme à l'idéalisme philosophiques d'hier. Paris: Vrin, 1930. 227 p.
- Parsons, 1958 — *Parsons T.* Definitions of Health and Illness in the Light of American Values and Social Structures // *Patients, Physicians and Illness* / ed. by E.G. Jaco. Illinois: The Free Press, 1958. P. 167–187.
- Petit, 1995 — *Petit A.* L'héritage du positivisme dans la création de la chaire d'histoire générale des sciences au Collège de France // *Revue d'histoire des sciences*. 1995. Vol. 48, № 4. P. 521–556.
- Pickering, 1995 — *Pickering A.* The Mangle of practice: Time, agency and science. Chicago: The University of Chicago Press, 1995. 296 p.

- Pickstone, 1995 — Pickstone J.V. Past and Present Knowledge in the Practices of the History of Science // *History of Science*. 1995. № 33. P. 203–224.
- Pomata, 2011 — *Pomata G.* Observation rising: birth of an epistemic genre, 1500–1650. // *Histories of Scientific Observation*. Ed. by Daston L. and Lunbeck E. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2011. P. 45–80.
- Quine, 1969 — *Quine W. V.* Epistemology Naturalized // *Quine W. V. Ontological Relativity and Other Essays*. Columbia University Press, 1969. P. 69–90.
- Renn, 1995 — *Renn J.* Historical Epistemology and Interdisciplinarity // *Physics, philosophy and the scientific community*; eds. K. Gavroglu et al. Dordrecht: Kluwer, 1995. P. 241–251.
- Renn, 1996 — *Renn J.* Historical epistemology and the advancement of science. Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Preprint 36. Berlin: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, 1996. URL: <http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P3> (Дата обращения 14.10.2018).
- Renn, 2012 — *The Globalization of Knowledge in History* / Ed. J. Renn. Berlin: Max Planck Institute, 2012. 854 p.
- Rey, 1909 — *Rey A.* Vers le positivisme absolu // *Revue philosophique de la France et de l'Étranger*. 1909. T. 67. P. 461–479.
- Rheinberger, 1997 — *Rheinberger H.-J.* Towards a History of Epistemic Things. Stanford: Stanford University Press, 1997. 326 p.
- Rheinberger, 2010 — *Rheinberger H.-J.* On historicizing epistemology, transl. by D. Fernbach. Stanford University Press, 2010.
- Rheinberger, 2012 — *Rheinberger H.-J.* A Plea for a Historical Epistemology of Research // *Journal for General Philosophy of Science*. 2012. Vol. 43. Is. 1. P. 105–111.
- Riesch, 2014 — *Riesch H.* Philosophy, history and sociology of science: Interdisciplinary // *Studies in History and Philosophy of Science*. 2014. No. 48. P. 30–37.
- Rockmore, 2002 — *Rockmore T.* Different worlds, history, and progress // *Constructivism and Practice: Toward a Historical Epistemology* / ed. by C.C. Gould. Rowman & Littlefield Publishers, 2002. P. 17–30.
- Ross, 2003 — *Ross S.* Styles in Art. *The Oxford Handbook of Aesthetics*, 2003.
- Russo, 1974 — *Russo F.* Épistémologie et histoire des sciences // *Archives de Philosophie*. 1974. Vol. 37, No. 4. P. 617–657.
- Schatzki et al, 2001 — *The Practice Turn in Contemporary Theory* / Ed. T.Schatzki et al. New York, Lonon: Routledge, 2001. 252 p.
- Shapin, 1989 — *Shapin S.* Invisible Technician // *American Scientist*. 1989. № 6. P. 554–563.
- Shapin, 1990 — *Shapin S.* Science and the public // *Companion to the history of modern science* / eds R. C. Olby, G. N. Cantor, J. R. R. Christie, M. J. S. Hodge. London: Routledge, 1990. P. 991–1007.
- Shapin, 2010 — *Shapin S.* Lowering the Tone in the History of Science: A Noble Calling. *Never Pure: Historical Studies of Science as If It Was Produced by People With Bodies, Situated in Time, Space, Culture, and Society, and Struggling for Credibility and Authority*. Chicago: University of Chicago Press, 2010. P. 1–14.
- Shapin, 2016 — *Shapin S.* Invisible Science // *The Hedgehog Review*. 2016. № 3. P. 34–46.
- Shapin, Schaffer, 1985 — *Shapin S., Schaffer S.* Leviathan and the Air-Pump. Princeton: Princeton University Press, 1985. 448 p.
- Shapin, Schaffer, 2011 — *Shapin S, Schaffer S.* Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle and Experimental Life. Princeton and Oxford, 2011. 448 p.
- Shaposhnicova, Shipovalova, 2019 — *Shipovalova L.V. Shaposhnicova Y.V.* Imagination in Action. The case of historical Epistemology // *Epistemology and Philosophy of Science*. 2019. Vol. 56. № 4. P. 62–77

- Soler, 2009 — *Soler L.* Introduction à l'épistémologie. Paris: Ellipses, 2009. 335 p.
- Solomon, 2015 — *Solomon M.* Making Medical Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 2015. 261 p.
- Strasser, 2012 — *Strasser B.* Collecting Nature: Practices, Styles and Narratives // *Osiris*. 2012. Vol. 27, № 1. P. 303–340.
- Stroud, 1984 — *Stroud B.* The Significance of Philosophical Scepticism. Oxford University Press, 1984. 294 p.
- Sturm, 2011 — *Sturm T.* Historical Epistemology or History of Epistemology? The Case of the Relation Between Perception and Judgment: Dedicated to Günther Patzig on his 85th birthday // *Erkenntnis*. 2011. Vol. 75(3). P. 303–324
- Sundström, 1987 — *Sundström P.* Icons of Disease: a Philosophical Inquiry into the Semantics, Phenomenology and Ontology of the Clinical Conceptions of Disease. Linköping: Linköping University. 1987. 241 p.
- Susser, 1990 — *Susser M.* Disease, Illness, Sickness: Impairment, Disability and Handicap // *Psychological Medicine*. 1990. Vol. 20. № 3. P. 471–473.
- Terrall, 2011 — *Terrall M.* Frogs on the Mantelpiece: The Practice of Observation in Daily Life// *Histories of Scientific Observation*. Ed. by Daston L. and Lunbeck E. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2011. P. 185–205.
- Tiles, Tiles, 1993 — *Tiles M. & Tiles J.* An Introduction to the Historical Epistemology, The Authority of Knowledge. Oxford-Cambridge, USA, 1993.
- Tosh, 2003 — *Tosh N.* Anachronism and Retrospective Explanation: In defense of a Present-centered History of Science // *Studies in History and Philosophy of Science*. 2003. Part A. Vol. 34. №3. P. 647–659.
- Trift, 2008 — *Trift N.* Non-Representational Theory. London & New York: Routledge, 2008.
- Trubnikova, 2016 — *Trubnikova N. V.* Modern historical epistemology through the prism of Paul Ricoeur' transactions // *SHS Web of Conferences*. Les Ulis: EDP Sciences, 2016. Vol. 28: Research Paradigms Transformation in Social Sciences (RPTSS 2015): International Conference, December 15–17, 2015, Tomsk, Russia: [proceedings]. [01140, 4 p.].
- Turnbull, 2003 — *Turnbull D.* Masons, Tricksters and Cartographers: Comparative Studies in the Sociology of Scientific and Indigenous Knowledge. L.: Routledge, 2003. 276 p.
- Tutton 2014 — *Tutton, R.* Genomics and the Reimagining of Personalized Medicine. Ashgate Publishing Limited, 2014. 204 p.
- Vanini, 2015 — *Non-Representational Methodologies. Re-envisioning Research /* Ed. Ph. Vannini. N.Y., 2015.
- Vetter, 2011 — *Vetter J.* Introduction: Lay Participation in the History of Scientific Observation // *Science in Context*. 2011. Vol. 24. №2. P. 127–141.
- Wagne, 2000 — *Wagner P.* Entirely New Object of Consciousness, of Volition, of Thought. The coming into being and (almost) passing away of «society» as a scientific object // *Biographies of scientific objects /* Ed. L. Daston. Chicago and London. 2000. P. 132–157.
- Wagner, 2002 — *Wagner P.* Introduction // *Wagner P. (Ed.) Les philosophes et la science*. Paris: Gallimard. P. 9–65.
- Wandel 2019 — *Wandel L. P.* Maps for a Prince // *Science in Context*. 2019. Vol. 32. P. 171–192.
- Wartofsky, 1979 — *Wartofsky M.* Models: Representation and the Scientific Understanding. Springer Netherlands, 1979. 398 p.
- Wartofsky, 1987 — *Wartofsky M.* Epistemology historised // *Naturalistic Epistemology /* ed. A. Shimony & D. Nails. 1987. P. 357–374.
- Wartofsky, 2002 — *Wartofsky M. W.* What can the epistemologists learn from the endocrinologists? Or is the philosophy of medicine based on a mistake? // *Philosophy of*

Medicine and Bioethics: A Twenty-Year Retrospective and Critical Appraisal / ed. by R.A. Carson, Ch.R. Burns. Dordrech; Boston; L.: Kluwer Academic Publishers, 2002. P. 55–68.

Whewell, 1837 — *Whewell W.* History of the Inductive Sciences. In three volumes. Vol. 1. London. 1837.

Yeo, 1993 — *Yeo R.* Defining Science. William Whewell, natural knowledge, and public debate in early Victorian Britain. Cambridge University Press. 1993.

Александров, Хагнер, 2007 — Наука и научность в исторической перспективе / Ред. Д. Александров, М. Хагнер. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, Алетейя, 2007.

Алиев 2018 — *Алиев Р.* Изнанка белого. Арктика от викингов до папанинцев. М.: Паульсен, 2018.

Альперс, 2018 — *Альперс С.* Картографический импульс в голландском искусстве // Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры. М.: Новое издательство, 2018. С. 172–196.

Андрюхина, 1984 — *Андрюхина Л.М.* Стиль мышления в структуре научно-познавательной деятельности // Анализ системы научного познания. Свердловск, 1984.

Анкерсмит, 2007 — *Анкерсмит Ф.Р.* Возвышенный исторический опыт. М.: Издательство «Европа», 2007. 612 с.

Артамонов, Тихонова, 2019 — *Артамонов Д.С., Тихонова С.В.* Историческая эпистемология в условиях цифрового поворота: медиапамять и сетевые субъекта исторического познания // Историческая эпистемология. История. Онтология. Эпистемология. СПб.: Фонд развития конфликтологии, 2019. С. 41–46.

Артамонов, Тихонова, 2020 — *Артамонов Д.С., Тихонова С.В.* Историческая эпистемология в условиях цифрового поворота // Философская аналитика цифровой эпохи. СПб.: СПбГУ, 2020 С. 55–71.

Астахов, 2016 — *Астахов А.А.* Способны ли объекты к действию. Версия Акторно-Сетевой теории // Философия и культура. 2016. №8(104). С. 1091–1098.

Ахутин, 1976 — *Ахутин А.В.* История принципов физического эксперимента. М.: Наука, 1976. 292 с.

Башляр, 2016 — *Башляр Г.* Актуальность истории науки // Эпистемология и философия науки. 2016. № 2. С. 220–232.

Бен-Давид, 2014 — *Бен-Давид Д.* Роль ученого в обществе. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Бикбов, 2014 — *Бикбов А.* Грамматика порядка: Историческая социология понятий, меняющих нашу реальность. М.: Издат. дом Выш. Шк. экономики, 2014. 432 с.

Блур, 2002 — *Блур Д.* Сильная программа в социологии знания // Логос. 2002. № 5. С. 162–185.

Бунге, 2010 — *Бунге М.* Причинность: Место принципа причинности в современной науке. М.: Едиториал УРСС, 2010. 512 с.

Бурдые, 2005 — *Бурдые П.* Дух государства: к генезису бюрократического поля // Бурдые П. Социология социального пространства. СПб.: Алетейя; М.: Ин-т эксперимент. социологии, 2005. С. 220–254.

Бэкон 1978 — *Бэкон Ф.* Новая Атлантида. // Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. 2-е, испр. и доп. изд. Т. 2. Сост., общ. ред. и вступит. статья А. Л. Субботина. М.: «Мысль», 1978. С. 483–518.

Вавилов, 1989 — *Вавилов С.И.* Исаак Ньютон. М.: Наука, 1989. 271 с.

Вархотов, 2017 — *Вархотов Т.А.* Против релятивизма: историческая эпистемология в поисках универсалий // Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51. № 1. С. 33–38.

Вархотов, 2018 — *Вархотов Т.А.* Объективность «объективности»: историографическая модель Л. Дастон и П. Галисона и эпистемологическая история науки // Ученые Записки Крымского Федерального Университета имени В.И. Вернадского. Философия, Политология, Культурология. 2018. Том 4 (40). № 3. С. 3–13.

Вархотов, 2020а — *Вархотов Т.А.* В поисках эпистемологии согласия: к 35-летию Левиафана и воздушного насоса // Логос. 2020. Т. 30. № 3. С. 178–201.

Вархотов, 2020б — *Вархотов Т.А.* Методология науки в поисках эпистемологии согласия: полемика Р. Бойля и Т. Гоббса глазами С. Шефера и С. Шейпина // Наука как общественное благо: сборник научных статей (материалы Второго Международного Конгресса Русского общества истории и философии науки). В 7 томах. Т.3. М.: Русское общество истории и философии науки. 2020. С. 15–19.

Вен, 2003 — *Вен П.* Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М.: Научный мир, 2003. 396 с.

Визгин, 1996 — *Визгин В. П.* Эпистемология Гастона Башляра и история науки. М.: ИФРАН, 1996. 263 с.

Владимиров, Осипов, 2017 — *Владимиров, А., Осипов Н.* Красное, желтое, синее. М: Издательский дом Мещерякова, 2017. 112 с.

Вуттон, 2018 — *Вуттон Д.* Изобретение науки: Новая история научной революции / Пер. с англ. Ю. Гольдберг. М.: Колибри, 2018. С. 656.

Гавриленко, 2017а — *Гавриленко С.М.* Историческая эпистемология: зона неопределенности и пространство теоретического воображения // *Epistemology & philosophy of science* / Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52. № 2. С. 20–28.

Гавриленко, 2017б — *Гавриленко С.М.* Историческая эпистемология: необходимые усложнения. Ответ оппонентам. // *Epistemology & philosophy of science* / Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52. № 2. С. 52–56.

Гавриленко, 2018 — *Гавриленко С.М.* Ганс Гольбейн Младший, Ян Ванделаар и империя наблюдения // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2018. Т.18. № 4. С. 84–102.

Гавриленко, 2020(а) — *Гавриленко С.М.* Как пишется история научного наблюдения (*Histories of Scientific Observation*) // Логос. 2020. Т. 30. № 3. С. 120–134.

Гавриленко, 2020(б) — *Гавриленко С.М.* Картографический диспозитив. (Несколько замечаний о «Глобусе» Питера Слотердайка) // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. Т.24. № 2. С. 131–150.

Гадамер, 1988 — *Гадамер Г.Г.* Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. 704 с.

Гадамер, 1991 — *Гадамер Г.Г.* Философские основания XX века // Г.Г. Гадамер Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 16–26.

Гайденко, 2003 — *Гайденко П.П.* Научная рациональность и философский разум. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 528 с.

Гегель, 1974 — *Гегель Г.В.Ф.* Энциклопедия философских наук, т. 1. Наука логики. М.: Издательство социально-экономической литературы «Мысль», 1974. 454 с.

Горохов, 2012 — *Горохов В.Г.* Технические науки: история и теория (история науки с философской точки зрения). М., 2012.

Горохов, 2015 — *Горохов В.Г.* Историческая эпистемология науки и техники // Философия науки. 2015. Т. 20. С. 7–35.

Гуссерль, 1994 — *Гуссерль Э.* Кризис европейского человечества и философия // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск: Сагуна, 1994. С. 102–126.

Гуссерль, 1994 — *Гуссерль Э.* Феноменология внутреннего сознания времени. М.: Издательство «Гнозис», 1994. 192 с.

Дастон, 2020 — *Дастон Л.* История науки и история знания // Логос. 2020. Т. 30. № 1. С. 63–90.

Дастон, Галисон, 2018 — *Дастон Л., Галисон П.* Объективность / Пер. с англ. Т. Вархотова, С. Гавриленко, А. Писарева; под ред. К. Иванова. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 594 с.

Деар, 2020 — *Деар П.* Историей чего является история науки? Истоки идеологии современной науки в раннее Новое время // Логос. 2020. Т. 30. № 1. С. 29–62.

Деар, Шейпин, 2015 — *Деар П., Шейпин, С.* Научная революция как событие. М.: Новое литературное обозрение. 2015.

Делез, 2000 — *Делез Ж.* Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. М.: ПЕРСЭ, 2000. 351 с.

Дмитриев, 2008 — *Дмитриев И.С.* Испытание святого Коперника. Ненаучные корни научной революции. СПб.: СПбГУ, 2008. 276 с.

Дмитриев, 2015 — *Дмитриев И.С.* Упрямый Галилей. М.: Новое лит. обозрение, 2015. 848 с.

Дмитриев, 2017 — *Дмитриев И.С.* «Это логика, а не мышление» (Н. Бор) // Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51. № 1. С. 39–41.

Дэстон, 2007 — *Дэстон Л.* Научная объективность со словами и без слов // Наука и научность в исторической перспективе / Ред. Д. Александров, М. Хагнер. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, Алетеия, 2007. С. 37–71.

Дюркгейм, 1995 — *Дюркгейм Э.* О методе социологии // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., сост., послесл. и примеч. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. С. 5–164.

Дюркгейм, Мосс, 1996 — *Дюркгейм Э., Мосс М.* О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений. // Мосс М. Общество. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / Пер. с франц. А.Б. Гофмана. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996. С. 6–73.

Ерофеева, 2017 — *Ерофеева М.А.* Проблематизация объекта в современной социологической теории. // Социологические исследования. 2017. № 7. С. 13–23.

Иванов, 2003 — *Иванов К. В.* Небесный порядок. Тула: Гриф и К, 2003. С. 164.

Ивин, 2011 — *Ивин А.А.* Классический стиль мышления Нового времени // Философский журнал. 2011. № 2(7).

Иттен, 2014 — *Иттен И.* Искусство цвета. 2014. 177 с.

Кант, 1965 — *Кант И.* Прологомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // Кант И. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 4. Часть 1. М.: Мысль, 1965. С. 67–310.

Кант, 1993 — *Кант И.* Критика чистого разума. СПб.: ИКА «Тайм-аут», 1993. 472 с.

Кант, 1994 — *Кант И.* Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994. 367 с.

Карнап, 1993 — *Карнап Р.* Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестник МГУ. Сер. 7. «Философия». 1993. № 6. С. 11–26.

Касавин, 2000 — *Касавин И.Т.* Традиции и интерпретации: фрагменты исторической эпистемологии. СПб.: Издательство РХГИ, 2000. 320 с.

Касавин, 2005 — *Касавин И.Т.* Эпистемология и историческое сознание // Эпистемология и философия науки. 2005 Т.3. № 1. С. 5–14.

Касавин, 2013 — *Касавин И. Т.* Социальная эпистемология: фундаментальные и прикладные проблемы. М: Альфа-М, 2013. 557 с.

Касавин, 2018 — *Касавин И.Т.* Научный реализм, онтология и мистика // Вестник Томского государственного университета Философия. Социология. Политология. 2018. № 45 С. 217–221.

Касавин 2020 — *Касавин И.Т.* Знание и реальность в исторической эпистемологии // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57. № 2. С. 6–20.

- Касавин, Лекторский, Швырёв, 2005 — Касавин И.Т., Лекторский В.А., Швырёв В.С. Рациональность как ценность культуры // Вестник РАН. 2005. № 4.
- Керимов, 2015 — Керимов Т. Х. Эпистема // Современный философский словарь / под общ. Ред. В.Е. Кемерова и Т.Х. Керимова. — М., Екатеринбург: Академический проект; Деловая книга, 2015.
- Коген, 2012 — Коген Г. Теория опыта Канта. М.: Академический проект, 2012. 618 с.
- Койре, 2001 — Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М.: Логос. 2001.
- Копосов, 2001 — Копосов Н. Как думают историки. М.: НЛО, 2001. 326 с.
- Косарева, 1989 — Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени. М.: Наука, 1989.
- Кошовец, 2017 — Кошовец О.Б. Производство знания о знании: от потребности в «нормирующем законодательстве» к междисциплинарному обмену и конкуренции // Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52. № 2. С. 40–46.
- Кротов, 2017 — Кротов А.А. Методология современных историко-философских исследований во Франции // Вопросы философии. 2017. № 6. С. 52–62.
- Крэри, 2014 — Крэри Д. Техники наблюдателя: виденье и современность в XIX веке / Пер. с англ. Д. Потемкина. М.: V-A-C press, 2014. 256 с.
- Кузнецова, 1982 — Кузнецова Н. И. Наука в её истории (методологические проблемы). М., 1982.
- Кузнецова, 1996 — Кузнецова Н. И. История науки на распутье // Вопросы истории естествознания и техники. 1996. № 1.
- Кузнецова, 2005 — Кузнецова Н. И. Неопознанный Фейерабенд // Эпистемология и философия науки. 2005. Т. III. № 1. С. 210–216.
- Кузнецова, 2009 — Кузнецова Н.И. Презентизм и антикваризм — две картины прошлого // Arbor Mundi. 2009. Вып. 15. С. 164–196.
- Кузнецова, 2017 — Кузнецова Н.И. Историческая эпистемология в поисках символического статуса // Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51. № 1. С. 29–32.
- Кузнецова, 2020 — Кузнецова Н.И. История науки: проекты и реалии // Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57. № 3. С. 87–104.
- Кукарцева, 2007 — Кукарцева М.А. Историческая эпистемология versus социальная. Обзор англоязычных изданий // Эпистемология и философия науки. 2007. Т. XVIII. № 3. С. 87–99.
- Кун, 1977 — Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977. 302 с.
- Куприянов, Шиповалова, 2017 — Куприянов В.А., Шиповалова Л.В. Кризис репрезентаций. Как возможен успешный исход. Случай наукометрии // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51. № 1. С. 171–188.
- Лакатос, 2003 — Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Лакатос И. Методология исследовательских программ М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. С. 255–344
- Латур, 2012 — Латур Б. Политика объяснения: альтернатива // Социология власти. 2012. № 8. С. 113–143.
- Латур, 2013 — Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб.: ЕУСПб, 2013.
- Латур, 2014 — Латур Б. Извините, не могли бы вы вернуть нам материализм? // Логос. 2014. №4 (100). С. 265–274.
- Латур, 2015 — Латур Б. Пастер: война микробов, с приложением «Несводимого». СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2015. 320 с.

- Латур, 2017 — *Латур Б.* Визуализация и познание // *Логос.* 2017. Т. 27. № 2. С. 95–156.
- Ле Гофф, 2003 — *Ле Гофф Ж.* Интеллектуалы в средние века / Пер. с фр. А.М. Руткевича. СПб.: Издат. дом СПбГУ, 2003. 160 с.
- Лекторский, 2009 — На пути к неклассической эпистемологии / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. В.А. Лекторский. М.: ИФРАН, 2009. 237 с.
- Малинов, Ащеулова, 2019 — *Малинов А.В., Ащеулова Н.А.* Научное наследие А.С. Лаппо-Данилевского в отечественной истории социальных наук // *Социология науки и технологий.* 2019. Т. 10. № 4. С. 193–199.
- Мамардашвили, Соловьёв, Швырёв, 1972 — *Мамардашвили М.К., Соловьёв Э.Ю., Швырёв В.С.* Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии // *Философия в современном мире. Философия и наука. Критические очерки буржуазной философии.* М., 1972. С. 28–94.
- Мегилл, 2007 — *Мегилл А.* Историческая эпистемология. М.: Канон+, 2007. 480 с.
- Мейясу, 2015 — *Мейясу К.* После конечности. Эссе о необходимой контингентности. М., Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015. 196 с.
- Месяц, 2012 — *Месяц С.В.* Гёте и его Учение о цвете. М.: Кругъ, 2012. 464 с.
- Месяц, 2013 — *Месяц С.В.* Аристотель о природе цвета // *Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина.* 2013. № 1. С. 28–39.
- Микешина, 1977 — *Микешина Л.А.* Детерминация естественно-научного познания. Л., 1977.
- Мол, 2017 — *Мол А.* Множественное тело: онтология в медицинской практике / Пер. с англ. группы Cube of Pink (МГУ); под науч. ред. А. Писарева, С. Гавриленко. Пермь: Гиле Пресс, 2017. 254 с.
- Нестеров, 2015 — *Нестеров А.* Географические карты раннего Нового времени как эстетизация и концептуализация репрезентированного пространства // *Гетеротопии: миры, границы, повествование. Сборник научных статей. Редакторы и составители И. Видугирите, П. Лавринец, Г. Михайлова. Вильнюс: Издательство Вильнюсского университета, 2015. С. 88–110.*
- Норт, 2020 — *Норт Д.* Космос. Иллюстрированная история астрономии и космологии / Пер. с англ. К. Иванова. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 1004 с.
- Пастуро, 2017 — *Пастуро М.* Синий. История цвета. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 144 с.
- Пастуро, 2019(а) — *Пастуро М.* Красный. История цвета. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 160 с.
- Пастуро, 2019(б) — *Пастуро М.* Цвета нашей памяти. СПб.: Alexandria, 2019. 336 с.
- Писарев, 2017 — *Писарев А.А.* Историческая эпистемология: эпистемология и другая философия // *Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки.* 2017. Т. 52. № 2. С. 34–39.
- Писарев, 2018 — *Писарев А.А.* К истории музеев науки: визуализацией чего являются экспонаты? (Случай африканского зала американского музея естественной истории) // *ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики.* 2018. Т. 18. № 4. С. 202–221.
- Писарев, Гавриленко, 2020 — *Писарев А., Гавриленко С.* В поисках ускользающего объекта: наука и ее история // *Логос.* 2020. Т. 30. № 1. С. 1–28.
- Поздняков, 2014 — *Поздняков А.А.* Стиль научного мышления: эпохальная или дисциплинарная концепция? // *Эпистемология и философия науки.* 2014. Т. 39. № 1. С. 191–210.
- Порус, 1994 — *Порус В.Н.* Стиль научного мышления в когнитивно-методологическом, социологическом и психологическом аспектах // *Познание в социальном контексте.* М., 1994.

Порус, 2008 — *Порус В.Н.* Между философией и историей науки: на пути к «гибкой» теории научной рациональности // Имре Лакатос: Избранные произведения по философии и методологии науки / Пер. с англ.: И. Веселовский, А.Л. Никифоров, В.Н. Порус. М.: Академический проект, 2008. С. 9–21.

Порус, 2009 — *Порус В. Н.* К вопросу о «рациональной реконструкции истории науки» // Высшее образование в России. 2009. № 7. С. 139–146.

Порус, 2010 — *Порус В. Н.* Людвик Флек: от сравнительной к социальной эпистемологии // Социальная эпистемология: идеи, методы, программы / Под общ. ред.: И. Т. Касавин. М.: Канон+, 2010. Гл. 26. С. 566–585.

Пружинин, 1994 — *Пружинин Б.И.* Познавательное отношение в классической и неклассической эпистемологии // Субъект. Познание. Деятельность: К 70-летию В.А.Лекторского. М., 2002.

Пружинин, 2009 — *Пружинин Б.И.* Ratio Serviens. Контуры культурно-исторической эпистемологии. М.: РОССПЭН, 2009 423 с.

Пуанкаре, 1990 — *Пуанкаре А.* Последние мысли // Пуанкаре А. О Науке. М.: Наука, 1990. С. 523–672.

Пэнто, 2004 — *Пэнто Л.* Эскиз философского поля Франции в 1960—1980-е годы. / Пер. с фр. А. Зайцевой // Логос. 2004. № 3–4 (43). С. 205–230.

Рей, 2010 — *Рей А.* Современная философия: проблемы происхождения, цели и последней сущности вещей. / Пер. с фр. Д.Л. Вайса. Изд. 2-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 264 с.

Родин, 2003 — *Родин А.В.* Математика Евклида в свете философии Платона и Аристотеля. М.: Наука, 2003. 211 с.

Розов, 1994 — *Розов М.А.* Презентизм и антикваризм. Две картины истории // Вопросы истории естествознания и техники. 1994. № 3. С. 13–23.

Розов, 2015 — *Розов М.А.* Гносеология культуры. М.: Новый хронограф, 2015. 576 с.

Руденко, 2017 — *Руденко Н.* «Кризис репрезентаций» в социальных науках на рубеже 1980–1990: критика процесса познания и социологических нарративов // Эпистемология и философия науки. Т. 51. № 1. С. 207–221.

Сен-Клер, 2018 — *Сен-Клер К.* Тайная жизнь цвета. М: Эксмо, 2018. 320 с.

Серто, 2013 — *Серто М.* Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / Пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 330 с.

Скотт, 2010 — *Скотт Д.* Благими намерениями государства / Пер. с англ. Э. Гусинского, Ю. Турчаниновой. М.: Университетская книга, 2010. 568 с.

Соколова, 1995 — *Соколова Л.Ю.* Историческая эпистемология во Франции. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1995. 136 с.

Соколова, 2017 — *Соколова Т.Д.* Зачем так усложнять? // Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52. № 2. С. 47–51.

Сокулер, 2017 — *Сокулер З.А.* Историческая эпистемология и судьба философской теории познания // Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52. № 2. С. 29–33.

Столярова, 2010 — *Столярова О.Е.* Спор эпистемологий // Эпистемология и философия науки. 2010. Т. 24. № 2. С. 65–67.

Столярова, 2012 — Онтологии артефактов: взаимодействие естественных и искусственных компонентов жизненного мира // О.Е. Столярова (ред). М.: Дело, 2012.

Столярова, 2014 — *Столярова О.Е.* Социология науки и философия науки: за пределами дескриптивизма и нормативизма // Вопросы философии. 2014. № 4. С. 168–177.

Столярова, 2015 — *Столярова О.Е.* Исследования науки в перспективе онтологического поворота. М.: Русайнс, 2015. 192 с.

Столярова, 2017 — *Столярова О.Е.* Стоит ли мыслить науку вне истории// Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51. № 1. С. 47–51.

Столярова, 2018(а) — *Столярова О.Е.* Историческая онтология как проблема // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 45. С. 194–202.

Столярова, 2018(б) — *Столярова О.Е.* Подразумевает ли историческая эпистемология историческую онтологию? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2018. Т. 34. Вып. 3. С. 369–380.

Столярова, 2020 — *Столярова О.Е.* Историческая эпистемологии и медицина: что они могут дать друг другу? // Цифровой ученый: лаборатория философа. 2020. № 4. С. 83–100.

Сулъе, 2004 — *Сулъе Ш.* Анатомия философского вкуса / Пер. с фр. А. Зайцевой // Логос. 2004. № 3–4 (43). С. 123–170.

Трубникова, 2018 — *Трубникова Н. В.* Социология науки как ресурс развития современной исторической эпистемологии // Вестник науки Сибири. 2018. № 2 (29). С. 1–10.

Уайт, 2002 — *Уайт Х.* Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Издательство уральского университета, 2002. 528 с.

Устюгова, 1984 — *Устюгова Е.Н.* Стиль научного мышления как культурологическая проблема // Наука и культура. М., 1984.

Фабиани, 2004 — *Фабиани Ж.-Л.* Философы республики. Пространство возможного: французская философия на рубеже XIX–XX вв. / Пер. с фр. О. Тимофеевой // Логос. 2004. № 3–4 (43). С. 91–122.

Филатов, Малахов, Вышегородцева, 2007 — *Филатов В.П., Малахов В.С., Вышегородцева О.В.* Обсуждаем статью «Историчность» // Эпистемология и философия науки. 2007. Т. XII. №2. С. 150–162.

Филюшкин А.И. и др., 2017 — *Филюшкин А.И.* (ред) Теория и методология истории. Учебник и практикум. 1-е издание. М.: Юрайт. 2017. 323 с.

Фуко, 1999 — *Фуко М.* Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы / Пер. с франц. В. Наумова. М.: Ad Margnem, 1999. 480 с.

Фуко, 2011 — *Фуко М.* Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочит. в Коллеж де Франс в 1977–1978 учеб. году. / Пер. с франц. Н.В. Суслова, А.М. Шестакова, В.Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 2011. 544 с.

Хайдеггер, 1991 — *Хайдеггер М.* Что значит мыслить? // М. Хайдеггер. Разговор на проселочной дороге. М.: Высшая школа, 1991. С. 134–145.

Черняков, 2001 — *Черняков А.Г.* Онтология времени. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. 460 с.

Шашлова, 2017 — *Шашлова Е.И.* О значении исторической эпистемологии для современной философии науки // Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51. № 1. С. 42–46.

Шейпин, 2020 — *Шейпин С.* Как быть антинаучными // Логос. 2020. Т. 30. № 1. С. 159–185.

Шиповалова, 2014 — *Шиповалова Л.В.* Научная объективность в исторической перспективе. Диссертационное исследование на соискание степени доктора философских наук. СПб., 2014. <http://philosophy.spbu.ru/userfiles/kathedras/scitech/Shipovalova/Shipovalova-dissertazia.pdf>

Шиповалова, 2017b — *Шиповалова Л.В.* О возможности «переговоров» в исторической эпистемологии // Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51. № 1. С. 52–55.

Шиповалова, 2017а — *Шиповалова Л.В.* Стоит ли мыслить науку исторически? // *Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки.* 2017. Т. 51. № 1. С. 18–28.

Шиповалова, 2018(а) — *Шиповалова Л. В.* Современная историческая эпистемология. Аналитический обзор направления исследований // *Цифровой ученый: лаборатория философа.* 2018. Т. 1. № 4. С. 153–167.

Шиповалова, 2018(б) — *Шиповалова Л.В.* К вопросу об идентификации современной исторической эпистемологии // *Философия и культура.* 2018. № 7. С. 13–23.

Шиповалова, 2019 — *Шиповалова Л.В.* Нормативизм и дескриптивизм в исследованиях науки. Как возможна золотая середина? // материалы 6 международной конференции «Мир человека: нормативное измерение — 6: Нормы мышления, восприятия, поведения: сходство, различие, взаимосвязь» Саратов 27–29 июня 2019 г.

Шпенглер, 1998 — *Шпенглер О.* Закат Европы. Т.1. Мн., 1998. 688 с.

Щедрина, 2014 — *Культурно-историческая эпистемология: проблемы и перспективы. К 70-летию Бориса Исаевича Пружинина / Сост.: Н. С. Автономова, Т. Г. Щедрина; науч. ред.: Т. Г. Щедрина.* М. : Российская политическая энциклопедия, 2014. С. 193–208.

Эванс, 2019 — *Эванс Г.* История цвета. Как краски изменили наш мир. М.: Эксмо, 2019. 224 с.

Эко, 2003 — *Эко У.* Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб., 2003. 300 с.

Юрсенар, 2004 — *Юрсенар М.* Мрачный ум Пиранези // *Юрсенар М.: Избранные произведения: В 3 т. Т. 3.* Санкт-Петербург: Изд-во Ивана Лимбаха, 2004. С. 86–121.

Об авторах

Вархотов Тарас Александрович — кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. E-mail: varkhotov@gmail.com

Гавриленко Станислав Михайлович — кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. E-mail: o-s@prosc.ru

Соколова Татьяна Дмитриевна — кандидат философских наук, научный сотрудник. Институт философии РАН. E-mail: sokolovatd@gmail.com

Столярова Ольга Евгеньевна — кандидат философских наук, старший научный сотрудник. Институт философии РАН. E-mail: olgastoliarova@mail.ru

Шапошникова Юлия Владимировна — кандидат философских наук, доцент Института философии Санкт-Петербургского государственного университета. E-mail: j.shaposhnikova@spbu.ru

Шиповалова Лада Владимировна — доктор философских наук, профессор Института философии Санкт-Петербургского государственного университета. E-mail: l.shipovalova@spbu.ru

Историческая эпистемология: проблемы и перспективы

Монография

Научная редакция и составление — Л. В. Шиповалова.

Компьютерная верстка: Т. М. Хусяинов

Дизайн обложки: Е. А. Урусова

Корректурa: А. С. Чеснокова

Тексты печатаются в литературной редакции авторов.

Подписано к использованию 30.12.2020

Формат: PDF/A. Усл. печ. л. 12.

Объем данных — 1,8 Мбайт.

Издательство «Русское общество истории и философии науки»

105062, Россия, Москва, Лялин пер., д. 1/36, стр. 2, комн. 2.

E-mail: info@rshps.ru

Минимальные системные требования:

браузер Google Chrome v. 2.0 и выше,

пропускная способность сетевого подключения не менее 128 кбит/с.

ISBN 978-5-6045557-5-0

